

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

И С Т П А Р Т

**КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
и Р. К. П. (большевиков).**

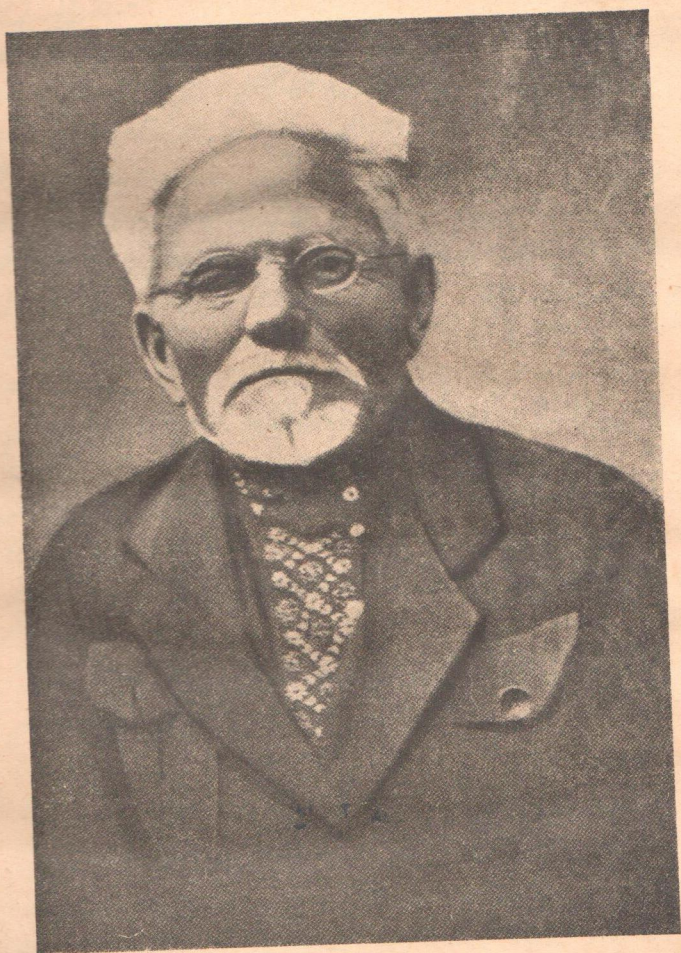
ВОСПОМИНАНИЯ

П. А. Моисеенко

1873—1923



**ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ НОВЬ“
ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ ♪ МОСКВА ♪ 1924**



П. А. Моисеенко.

Оглавление.

	<i>Стр.</i>
Предисловие	5
1. Отъезд в Петербург. Первый арест и высылка . . .	8
2. Стачка на Ново-Бумагопрядильной фабрике в 1879 г., арест и ссылка	28
3. Морозовская стачка, арест, суд и ссылка	55
4. Революционные скитания 1888—1893 г.г., арест и ссылка	114
5. Возвращение из ссылки и работа на южных рудниках	139
6. Февральская и октябрьская революции и партийная работа	192
Приложение	207

Иллюстрации:

Портрет Моисеенко.

Факсимиле Моисеенко.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Товарищ Моисеенко известен рабочей и партийной массе только, как организатор Морозовской стачки. Чем был Моисеенко до и после нее—в литературе (кроме краткой автобиографии Моисеенко*) мы никаких следов не находим. И вот, воспоминания самого Моисеенко и дают ответы на эти вопросы.

Моисеенко не был теоретиком; в этом отношении он далеко уступал таким рабочим, как Обнорский, Ювеналий Мельников, Иван Бабушкин и др. Связанный всю жизнь с подлинной рабочей массой, уже по одному тому, что сам был рабочим, Моисеенко как-то особенно сумел изучить эту жизнь, подмечать самые маленькие, незначительные моменты в быте пролетария. Просто, без всяких мудрствований, он подходил к рабочим, угадывал их настроение и зажигал их своим революционным оптимизмом, который его, Моисеенко, не покидал даже в самые черные дни реакции. Глубоко убежденный в правоте классовой борьбы, Моисеенко неутомимо проводил в жизнь свой девиз: революционное действо. Где бы он ни был: в ссылке, на руднике, на фабрике, в деревенской глуши—езде и всюду, по своему, не связанный ни с какой организацией, без чьего-либо руководства, без больших перспектив—двигает революцию вперед: работает, создает, организует.

Еще до Морозовской стачки Моисеенко прошел богатую школу революционной борьбы. Участвуя в нескольких стач-

*) См. воспоминания Моисеенко «Революционное движение в 1875—1886 г.г. среди рабочих Петербурга и Орехово-Зуева (Морозовская стачка)» в журнале Комиссии по изучению Окт. рев. и ком. партии (б) Украины «Летопись Революции» № 5 и краткую автобиографию Моисеенко в хрестоматии «Революция и РКП (б) в материалах и документах», том I.

ках и демонстрациях 70-х годов, он в народнических кружках знакомится с рядом передовых работников того времени. Особенное влияние на него имели Г. В. Плеханов и Ст. Халтурин, которые, по признанию самого Моисеенко, научили: первый—понимать, второй—действовать. Тут Моисеенко тренируется, развивает свои способности и, умудренный опытом, берется за организацию знаменитой Морозовской стачки.

Воспоминания, обнимающие полвека, Моисеенко писал в 1921—1922 г.г., когда ему было 70—71 год, и незадолго до своей смерти (умер 30-го ноября 1923 г.), весной в 1923 г., передал их в Истпарт.

Внешне материал представляет две части: первая—переписана очень небрежно, без всяких интервалов на машинке (88 листов); вторая—в рукописном виде (145—226 лист.). Как первая, так и вторая части воспоминаний писались без знаков препинания, что сильно усложнило их редактирование. Приступая к его обработке, мы ставили следующие задачи: во-первых—расставить знаки препинания; во-вторых—выкинуть повторения; в-третьих—сверить, иногда даже целые периоды, с соответствующей литературой, и неясным местам дать необходимые примечания. Но просмотренная часть рукописи показала, что такая обработка не будет достаточной: воспоминания Моисеенко нуждались в более существенной переделке. Ставя перед собой задачу сохранить стиль и язык автора, мы старались изменить фразы тогда только, когда нельзя было без этого обойтись. Особенность языка Моисеенко заключается в многословии, повторении и почти в полнейшем отсутствии придаточных предложений. Последнее особенно усложняло, в свою очередь, расстановку знаков препинания.

Принимая во внимание, что автор писал свои воспоминания, когда ему было 70—71 год, приходилось с особенной тщательностью, где только возможно, проверять то или иное событие, имевшее место 40—50 лет тому назад. Тут пришлось убедиться, что память—вещь ненадежная, хотя Моисеенко в этом отношении прямо поражает: запомнить столько эпизодов, эпизодиков со всеми их мелочами—нужно иметь особую способность. Но, с другой стороны

автором забыты, или спутаны иногда, более крупные, интересные события, как из своей личной жизни, так и общественной, свидетелем которых он был. Много таких запутанных мест «распутывались» в самом тексте, не обрывая нити повествования; другие же—снабжались примечаниями. Далеко не все, написанное Моисеенко, удалось проверить. Например, ростовский период, за неимением соответствующей литературы, остался мало разъясненным. Также в виде примечаний мы помещаем часть воспоминаний, относящихся к 70-м годам, где автором затрагивается организация «Северо-Русского Рабочего Союза» и общение Моисеенко с шефом жандармов Мезенцевым. Считая это событие очень важным в истории революционного движения, мы, не имея возможности проверить его, печатаем эту часть воспоминаний без всяких изменений, исправлений, с сохранением всех орфографических ошибок (последние для иллюстрации языка Моисеенко, хотя в этой части воспоминаний (16 листов) кое-где расставлены, по видимому машинисткой, некоторые знаки препинания). К воспоминаниям Моисеенко нами прилагается выдержка из книги Г. В. Плеханова «Русский рабочий в революционном движении», которая дает возможность читателю сопоставить описание некоторых событий 70-х г.г. у Плеханова и Моисеенко.

Обработка рукописи производилась под непосредственным руководством М. Ольминского.

Рукопись сдана в архив Истпарта, и, в случае необходимости для академических целей, она к услугам интересующихся.

А. Казовская.

1. Отъезд в Петербург. Первый арест и высылка.

Лучше поздно, чем никогда.

Это было в 19-м столетии, в начале 70-х годов. С тех пор много воды утекло. Приходится начать свои воспоминания с того момента, когда мне попались впервые нелегальные брошюры: «Сказка о четырех братьях», «Хитрая механика», «Сказка о копейке» и «Революционный песенник». С этих пор начинается мое пробуждение от старого религиозного мировоззрения к новой жизни.

Интересно вспомнить, как могла попасть нелегальщина в такое заколдованное место, как Зуево. Работая на фабрике Зимина ткачем, мне часто приходилось по поручению конторщика ходить на соседнюю фабрику Саввы Морозова в Орехово за книгами в Морозовскую библиотеку. Там же кое-что читал, например, Фенимора Купера и т. п. литературу.

После нижегородской ярмарки *) приехал из Нижнего брат моего товарища, ткача Гвоздарева, и привез нелегальщину. О, что было тогда! Мы с товарищем зачитывались, не верили себе и удивлялись тому, что читали. Мысль заработать: мы стали доискиваться правды и решили проверить то, что открывали нам книги. Надо сказать, что в это время мы были очень религиозны.

Собралось нас несколько человек, и отправились мы в монастырь верстах в 20—25 от Зуева, Веденскую пустынь, где была явленная икона. Не доходя до монастыря, нам

*) Поскольку удалось выяснить, это было в 1873 г.

пришлось проходить лесом. Вдруг слышим душу раздирающий крик женщины. Ну, думаем, наверное заблудилась и попала к разбойникам. Но каково же было наше удивление, когда мы узнали, что не разбойники грабили, а монахи заводили в лес женщин и насиловали их там.

На завтра с первым ударом колокола мы были уже на ногах и вошли в храм. Впереди всех выстроились рядами так называемые чернички, молодые, красивые, чисто одетые. Как только служба началась, поп и дьякон стали щеголять друг перед другом, при чем дьякон артистически махал кадилом и явно проявлял всю свою плотоядную страсть к черничкам. В первый раз мне показалось, что я не в храме, а в вертепе.

По окончании службы начались молебны и панихиды. Тут еще больше выказали монахи всю свою хищническую душу. Открыто жертвенные деньги расхищались по карманам, даже слепой послушник тащил. Омерзительное впечатление осталось у меня; когда я поделился с своими спутниками, — услышал от них еще более омерзительные вещи. Всякая вера была потеряна, и не только в монахов и попов, но и в бога. Невольно родилась мысль: если ты бог всемогущ, так что же ты смотришь? Ведь достаточно одного твоего слова и все нечестие стинет с лица земли, а если ты бессилен, то значит тебя нет. Мою мысль разделял и товарищ Гвоздарев.

Мы мучались, искали выхода и нам казалось, что выход может быть только один: уехать в Питер, где мы можем все узнать. Но вот вопрос, куда мы там денемся? Все же решили ехать. Сборы были наши скоры. Я и мой брат поехали, а Гвоздарев остался пока на фабрике. До Москвы мы доехали быстро (82 версты), повидались кое-с кем и отправились в Питер.

Первое, что нам предстояло сделать по приезде в Питер, — разыскать кого-либо из знакомых. Вспомнили, что на Гончарной улице живут два брата арзамасца, ломовых извозчика, и отправились туда. Дома их не застали, и остались ждать вечера, когда они и явились. Напоили нас чаем, накормили и спать уложили на сеновале.

Утром на другой день они рано уехали на работу, а

мы пошли осматривать Питер. Целый день мы пробродили по городу голодные, так как денег у нас не было ни копейки. Решили искать работы. Стоим мы у ворот дома извозпромышленника. Подъезжает кучер. Разговорились с ним и тут же столковались, что брат поступит конюхом на завод Струкова за Московской заставой, а я пойду искать работы на фабрике, адрес которой удалось узнать. Дождались мы вечера. К тому времени вернулись наши знакомые, которые накормили нас. На утро брат отправился за Московскую заставу, а я пошел на Ново-Бумагопрядильную фабрику. У стоявшего у ворот фабрики народа узнал условия работы. Оказалось, что ткачей принимают, но что долго приходится ходить «поналишним» (запасным), т.-е., работа непостоянная, а случайная, например: кто не вышел на работу—на его место ставят запасного (поналишнего). Что делать? Стою, разговариваю. В это время подходят новые люди. Разговор завязывается и один мужчина говорит, что за Нарвской заставой, на фабрике «Шау» набирают ночную смену и что туда можно поступить прямо на свою пару. Направился к этой фабрике. Стал искать земляков; вызываю одного подмастерья-земляка, разговорились с ним и я узнал, что земляков здесь порядочно. Здесь я получил работу, и определили меня в артель земляков. Спасение от голода полное. Квартира общая, стол общий, товарищи все молодые. Я быстро ознакомился с окружающей обстановкой, и работа закипела. Оказалось, что наша артель почти вся состоит из тех, которых тогда называли студентами, т.-е. из ходивших на вечерние курсы (когда же школы были закрыты, то ходили к студентам на квартиры). Меня сейчас же посвятили во святые-святых. Стал учиться. Первым, с кем я познакомился—были: т.т. Пресняков *) и Дейч; **) затем

*) Пресняков Андрей был видным революционером, принимал большое участие в Казанской демонстрации, в организации взрыва в Зимнем дворце и других террористических актах. В 1880 году был арестован и 4 ноября того же года был казнен в ограде Петропавловской крепости.

**) Из автобиографии Льва Григорьевича Дейча,

мы видим, что он был в Петербурге летом 1878 г. после побега из киевской тюрьмы, но чтобы «замести следы», уехал в Швейцарию и, вернувшись в СПб летом 1879 г., примкнул к обществу «Земля и Воля».

были Чубаров *), Лизогуб **) и много других, в особенности курсисток. Я с жадностью набросился на книги, как легальные, так и нелегальные: читал не только в свободное время, но и за работой. Сменщик мне попался дельный и старательный и мы скоро выдвинулись, как лучшие ткачи. Нам дали по другой паре станков с подручными мальчиками.

Это было в 1874—75 годах. С этих пор я начал принимать деятельное участие в партии «Земля и Воля» ***). Круг наш расширился, все же систематических занятий не было вплоть до знакомства с Плехановым, с которым мы начали разбирать сочинения Н. В. Шелгунова. Благодаря Плеханову я многое уяснил себе и стал разбираться в литературе. Помню, сильное впечатление произвел на нас тогда роман Швейцера «Эмма». Настроение было воинственное. На фабриках пропаганда шла усиленным темпом. Ходившие ко мне студенты и курсистки занимались с младшим братом и воспитанницей. Моя семья была уже в Питере; я имел отдельную квартиру, где часто происходили собрания.

В 1875 году первую экономическую стачку, как пробную, произвели на фабрике Шау с тов. Александровым, участником стачки 1872 г. в Нарве, на Кренгольмской мануфактуре, который впоследствии был арестован за распро-

*) Чубаров, С. Ф. — видный революционер, был сыном богатых родителей, учился в Воронежском кадетском корпусе. Главным образом работал на юге России (Кубань, Кавказ и Украина), где некоторое время вел пропаганду, а потом принимал участие в аграрных беспорядках в Чигиринском уезде, Киевской губ. и в ряде террористических актов. В самый момент отъезда из Одессы, где он работал под кличкой «Капитана», был арестован и 10 августа 1879 г. был повешен вместе с Дмитрием Лизогубом.

**) Дмитрий Лизогуб, сын предводителя дворянства, был миллионер, владелец громадного имения в одной из лучших губерний России. Был одним из преданнейших революционеров того времени, жил очень бедно, потому что все средства свои отдавал на революцию. Дмитрий Лизогуб был арестован в августе 1879 года в Одессе по доносу своего управляющего, который продался правительству за обещание отдать ему остатки состояния Лизогуба: Суд, основываясь на показаниях предателя, против всяких ожиданий, приговорил Лизогуба к смертной казни. Он отверг предложение спасти свою жизнь подачею просьбы о помиловании и 10 августа 1879 г. был повешен.

***) Моисеенко, вероятно, принимал участие в народнических кружках, так как начало существования общества «Земля и Воля» относится к 1877 г. (см. Г. А. Кукулина «Итоги революционного движения в России за сорок лет (1862—1902 г.)» Женева. Издание Г. А. Кукулина. 1903 г.).

странение и хранение нелегальной литературы; он был сослан на каторгу на 10 лет. Защитником был Ольхин, который и сам попал в ссылку *).

После этого события начались частые обыски среди рабочих; пришлось держать ухо востро. Знакомство расширялось; ко мне стали часто заходить т.т. Густов и Ташаков.

В ожидании Казанской демонстрации я все еще держался за Нарвской заставой. Накануне Казанской демонстрации Пресняков пригласил меня и еще одного товарища на собрание, которое было, кажется, на Выборгской стороне. На собрании этом было много интеллигенции, рабочих же почти не было. Много говорили, спорили, в особенности Плеханов и Боголюбов **). Одни доказывали, что демонстрация только убавит наши ряды и ничего существенного не даст, другие же, напротив, говорили, что она даст толчок в обществе, и если даже рабочие не поймут ее значения, то все же лозунг «Земля и Воля» всколыхнет народные массы. Решено было провести демонстрацию. Нам дан был наказ: собрать как можно более народу. Но здесь произошла заминка или ошибка ***). Некоторые товарищи отправились к Исаакиевскому

*) О Кренгольмской стачке см. В. Герасимова «Жизнь рабочего полвека тому назад» (Изд. «Красная Новь», Москва 1923 г.).

**) Боголюбов (Алексей Андреевич Емельянов) был членом общества «Земля и Воля». За участие в Казанской демонстрации был приговорен к 15 годам каторжных работ. Боголюбов — тот самый студент, который подвергся в июле 1877 г., по приказанию петербургского градоначальника Трепова, телесному наказанию, что и явилось причиной выстрела Веры Засулич в Трепова (24 января 1878 г.). Потом Боголюбов помешался и несколько лет просидел в Казанской психиатрической лечебнице.

***) Об этой «заминке» или «ошибке» в организации Казанской демонстрации в книге Г. В. Плеханова «Русский рабочий и революционное движение», мы читаем:

«...уже в течение всего ноября (1876 г.) по Петербургу ходили слухи о какой-то демонстрации, имеющей произойти около Исаакья, и публика была уже подготовлена. Кто задумал эту демонстрацию и какой характер собирались придать ей, мы, землевольцы, хорошенько не знали, хотя, разумеется, явились бы к Исаакию, если бы там, действительно, что-нибудь произошло. Но этой демонстрации не случилось, было состояться, она все как-то откладывалась от одного праздника до другого, так что нетерпеливые «нигилисты» начали, наконец, сердиться. О демонстрации у Исаакья стали говорить не иначе, как с иронией. Не желая, чтобы публика смеялась нас с этими медлителями, мы нарочно выбрали другое место — Казанский собор — для нашей демонстрации. И все-таки, когда в публику проникли слухи о наших замыслах, многие решили, что предстоящая Казанская демонстрация и есть та, которая должна была произойти у Исаакья. Давно жаждавшая сильных впечатлений, революционная молодежь отовсюду повалила к Казанскому

собору, так что на Казанскую площадь собралось не более 300 человек.

Придя к собору, мы увидели, что нас слишком мало, и решили войти в собор. Потолкавшись там, мы сделали знак к выходу и высыпали все на площадь, где с речью выступил Г. Плеханов. Речь его произвела очень сильное впечатление. Он говорил о гибели лучших сынов России: Нечаева, Чернышевского, Михайлова и других. После речи Плеханов был поднят на руки рабочим Торнтоновской фабрики, который развернул красное знамя, с надписью «Земля и Воля» *). Все с замиранием сердца смотрели на это знамя. В этот момент со всех окружающих площадь дворов ринулась на нас свора переодетых жандармов и дворников и началась ужасная свалка. Так как нас было мало, то мы и уступили силе. Кто-то крикнул: «расходись». Меня подхватили товарищи и увели. Впоследствии оказалось, что арестовано было 36 человек. Так кончилась демонстрация на Казанской площади.

Но на окраинах дело обстояло не так. За Нарвской заставой, в трактире «Карс», выступил на подмостках оратор и рассказал публике, что было на Казанской площади. Публика встретила оратора (фамилии его теперь не помню) дружными аплодисментами. Впечатление было сильное. Шпионы хотели сделать свое гнусное дело — арестовать оратора при выходе из трактира. Они схватили его, посадили в сани и покатали. Мы за ними. И вот на Египетском мосту один из наших схватил шпиона за шиворот и бросил его с моста, а другому дали тумака, тот только успел свистнуть. Городовой схватил одного из наших, но в это время другой подошел и такого тумака дал городовому, что тот пока-

собору и, сравнительно с рабочими, оказалась там, вопреки нашим первоначальным расчетам, в большинстве. Рабочих пришло немного: 200—250 человек». (24—25 стр.).

*) Рабочий Торнтоновской фабрики, поднявший знамя «Земля и Воля», был 16-ти летний парень Яков Потапов. За участие в Казанской демонстрации и за нахождение в его кармане флага «Земля и Воля», суд постановил его и еще 2-х рабочих, участников демонстрации, принимая во внимание их крестьянское происхождение, отдать «в один из отдаленных монастырей на пять лет, с поручением их там особому попечению монастырского начальства для исправления их нравственности и утверждения их в правилах христианского долга» («Государств. преступления в России в XIX веке» под редакцией Б. Базилевского (В. Богучарского), том второй, стр. 118).

тился запертво. Свисток оборвали, и мы благополучно возвратились домой, уничтожив все то, что компрометировало нас (парики и бороды). Это событие сделало нас передовыми работниками, отмеченными предательской рукой, и заставило нас быть осторожнее.

С декабря 1876 года до весны 1877 года пришлось приналечь на самообразование.

В 1877 году была война с Турцией. Задумали провести на Исаакиевской площади демонстрацию-протест против войны, но она не удалась совершенно и нам пришлось мирно разойтись по домам.

В это время я перекочевал на Обводный канал, на Ново-Бумагопрядильную фабрику. Здесь поле для пропаганды было шире, и мы это использовали. Завели хор и бубен с плясунами. Один из товарищей, «Алешка Рыжий» (так мы его прозвали), прекрасно выполнял роль бесноватого из сказки «О четырех братьях». Ставили революционные песни: «Долго нас помещики душили» и «Оводушка», напев «Лучинушки». Эффект был поразительный. Всех нас воодушевляла революционная песня. Несмотря на усталость, мы забывали все. Особенно отличался своим голосом и талантом Федот Лазарев, который удивительно ловко умел подсунуть брошюрку заслушавшимся посторонним. Иногда мы пели в трактире по приглашению.

Примечание. В 77 году я поступил в артель посыльных для того, что бы очистить свои легкие от пыли во время моей работы на новобумагопрядильной, комне предъявили требования, чтобы я взял на фабрику одного из интеллигенции, а так как я был одним из лучших ткачей, то мне не стоит никакого труда выпросить у мастера взять себе ученика, вот в качестве учеников и был взят один из интеллигенции, кто и как его настоящая фамилия до сих пор не знаю, в то время мы настоящих фамилий никого не знали, делалось это для того, чтобы в случае провала не мог назвать ходил ли кто неизвестно. Посыльным мне пришлось иногда проделывать очень важные и серьезные вещи, так было, чтобы предупредить шефа жандармов Мезенцева, ему писались письма,

доставить их в 3-е отделение поручалось мне, помню первое письмо я передал очень удачно, почти что прямо лично в ответ получил, негодяй, хотя бы бумагу почище иди ответа не будет. 2-е письмо, ко мне подъехала дама в санках, запряжен был известный рысак варвар, посадила меня недоезжая до 3-го отделения дала письмо, я понес письмо и они уехали. Мне хотелось пробраться с другого отделения не тут то было, пришлось пойти с парадного хода и отдать адъютанту, попрося ответа, через несколько минут, слышу ответа не будет, ступай. Сам по себе я дамы не знаю, да она мне и не нужна была, вечером пошел к Попову (Родионовичу), тогда мы его звали «Силач», передал ему, поговорил и я ушел. Моя роль посыльного не удовлетворяла товарища Асинского, который видел в этом холуйство..., когда я ему объяснил, что из партии должен быть свой человек, которого в случае надобности всегда можно использовать, как это и было, то даже в 3-е отделение был свой человек, представьте себе квартиру проваленной и там засада, как узнать, вот тут то нужен посыльный, как лицо непречастное. Пока на этом и порешили. После этого, мне нужно было отнести книги в Измайловский 10 рота, там проживали Тащакон дедушка. Подхожу к номерам вижу стерегут шпики, я их попросил удалиться так как женщине нужно в уборную и позвал жену, шпики ушли, в дверь трактира, а я за звонок, отворил дедушка и такой испуганный я объяснил, отдал книги «культура человеческой жизни» и другие листовки Речи Петра Алексеева арестованы были из товарищей Тащакон других фамилий не помню, я вышел черным ходом и пошел себе За Нарвскую. Нужно было передать кое какие новости и литературу, бегать мне приходилось много среди рабочих все разрасталось народовольчество, нужно было группировать, как раз в это время вышла «Социалогия» Спенсера среди интеллигенции зачитывались, мы пока пользовались лишь разъяснениями. Среди рабочих более развитых было глухое недовольство интеллигенции на том основании, что рабочему приходится обрабатывать сы-

рой материал, серый, еще не усвоивши всей важности ученик, а к интеллигенции ведет уже подготовленного, мне самому не раз приходилось говорить это на собраниях интеллигенции и даже просить учите нас более передовых. Помню раз я был приглашен прийти к Клейн в Рождественскую. Часть квартиры была как раз против больницы св. Николая, откуда бежал Крапоткин, там я застал порядочно людей, среди них были двое военных, собрание прошло хорошо, много говорили, наконец, объяснили, что эта квартира была наблюдательным пунктом, когда бежал Крапоткин. Много времени прошло с тех пор, всех не запомнишь быть может, кто либо из оставшихся в живых с того времени опишет более подробно 77-й год подходил к концу начался процесс 193. Мы ловили налету все что выходило из зала суда, все это давало массу материала для пропаганды. Смерть Некрасова среди рабочих прошла бледно, мало кто даже знал, кто такой Некрасов, газета «Голос» была закрыта, тогда Градовский начал издавать еженедельный журнал, где впервые и были помещены стихи «Идет он усталый и цепи звенят» и «тучи черные в небе носятся», статья Градовского «Духовная пища на генеральском обеде». Градовский был в Турции на войне его заменял Песковский, за эти стихи и статью журнал закрыли. Я же использовал этот журнал. Взял несколько номеров и разнес по кружкам (автора стихов мне пришлось встретить в Архангельске в 1886 году). Приближался 1878 год, который и положил начало моим странствованиям по тюрьмам и этапам. В начале 78 года я познакомился с Халтуриним ближе, пришлось создавать «Северный Союз», Обнорского я знал и частенько мы виделись. На первом собрании участвовали с обводного канала я и Абраменко из занарской штрипан и Алеша. Помню когда меня спросили о Халтурине, я и сам не знал как его звать и назвал Яковым Оржаком, так он и остался с тех пор, Яков. Из Заневской и Выборгской не помню кто был из рабочих. Так и создавался «северно-Русский рабочий союз».

На Ново-Бумагопрядильной фабрике зрело недовольство рабочих вычетами за челноки и низкой заработной платой. Мы решили этим воспользоваться для проведения стачки; об этом я сообщил Родионовичу*). Организация поручила мне стать на работу на фабрику. Мастер Яков Яковлевич (англичанин) охотно согласился, сказав, что возьмет меня, как только освободятся станки. Все было подготовлено, и меня приняли на фабрику.

Агитация велась усиленно. Наконец, фабрика стала. Рабочие предъявили требования, удовлетворить которые контора не согласилась. Мы сильно агитировали за продолжение стачки. Рабочие держались дружно; на собрании полицию просили уходить, не мешать; шпииков выпроваживали из трактиров. На третий день появилась статья в газете «Новости» о стачке, написанная Родионовичем. Купил я до 50 номеров, роздал рабочим, читал и пояснял им. Некоторые из рабочих поговаривали о том, что нужно подать прошение наследнику (в то время наследником был Александр III).

Так как вера в царя тогда была очень сильна, то нам приходилось изворачиваться: критиковать, ругать правительство, дворян, попов, купцов — словом, всячески отговаривать не подавать прошения царю. Царя трогать тогда нельзя было. Сложилась даже поговорка: «посуду бей, а самовара не трогай». И вот, волей-неволей пришлось согласиться и написать прошение наследнику. Написать поручили нам, а мы поручили Попову (Родионовичу). На другой день принесли прошение, которое я торжественно прочел собравшимся рабочим и спросил их мнения. Все кричали «подать!» Встал вопрос — как подать? Надо идти к дворцу. Я знал, что наследник живет в Аничкином дворце. Подойти к дворцу надо было незаметно. Порешили идти по двое, по

*) Михаил Родионович Попов («Родионыч») — один из основателей общества «Земля и Воля». По его инициативе созывается съезд землевольцев в июле 1879 г. в Воронеже и он принимает самое активное участие в пересмотре и переработке программы общества. Центром своей работы он избирает Киев, где в 1880 г. его арестуют по доносу. Суд приговаривает его к смертной казни, но ее заменяют вечной каторгой. М. Р. Попов попадает на Кару, потом заключается в Шлиссельбургской крепости, где он пробыл четверть века. Из Шлиссельбурга выходит в 1905 г. и направляется на жительство в Ростов-на-Дону, где живет до переезда в Петербург. В 1910 г. умер в Петербурге в больнице.

трое, не больше. Место для сбора выбрали в Александрийском сквере, у монумента Екатерины II.

В Александрийском сквере стал собираться народ, и так как толпа образовалась порядочная, то полиция, заметив это, предложила разойтись. Я видел, что дальше ждать нельзя, надо действовать. Махнул рукой—все высыпали на Невский, прямо к воротам. Прощение я передал одному из ткачей (впоследствии он меня провалил). Толпа запрудила весь Невский. Мы пробовали проникнуть во двор, но городские загородили дорогу и объявили, что наследника нет дома. Тогда я перебежал на другую сторону Невского и увидел стоявшего в амбразуре окна наследника. В это время примчался помощник градоначальника Козлов. Он выскочил из экипажа и врезался в толпу. Мы сгрудились плотней. Ко мне протискался товарищ, у которого было прошение, и шепнул, что он боится. Я взял у него прошение и спрятал его под полу и, придерживая рукой из кармана, двинулся к Козлову. Когда увидел, что рабочие, услышав просьбы Козлова, разойтись, стать на работу—путаются, я обратился к Козлову:

— Ваше превосходительство! Народ желает говорить с цесаревичем и просить его улучшить положение рабочих.

Козлов ответил, чтобы мы шли на свою фабрику, становились на работу, а если не хотим, то можем получить расчет и идти на другие фабрики, и что цесаревича дома нет.

Тогда я снова начал говорить, что мы пришли просить не за себя только, а за всех рабочих, что на других фабриках нас тоже грабят и душат, как и на нашей, на что последовал ответ Козлова, если нам не нравится на фабриках, то можем отправляться на родину, откуда приехали.

— Ваше превосходительство! Мы с родины приехали, потому что нас нужда выгнала, мы должны кормить стариков, мы должны подати платить.

Козлов рассвирепел.— «А, подати платить, взять его!»

Полицейские подскочили. Я улучил минуту и выпустил прошение на панель. Кто-то из студентов сказал:— «Ваше превосходительство, вы бумагу обронили».

Меня посадили в пожарном отделении, внизу, во дворе. Окна выходили на Невский. Я взобрался на окно и стал наблюдать за происходившим на улице. Козлов вертел бумагой и что-то говорил. Вся улица была запружена публикой. Вдруг входит лакей-камердинер. Поздоровался со мной и спрашивает, за что меня арестовали. Я ему рассказал все. После его ухода опять занял свой наблюдательный пост—вижу: народ все еще стоит. Минут через 15 вбегает ко мне Козлов и начинает орать:

«Как ты смел, я тебя загоноу не только в Сибирь, но и за Сибирь. Кто писал прошение? Отвечай!»

— Не знаю.

В это время входит камердинер и просит Козлова пожаловать к цесаревичу. Они уходят, а я снова остаюсь один и смотрю на Невский. Народ уже стал расходиться. Сиджу и думаю, что-то будет, наверное теперь отправят в тюрьму. Невольно приходят мне на ум слова из «Песни про долю»: за прошение мужиков его милости плательщик сподобился кандалов. Задолго до ареста мы знали, что чаша этой нам не миновать. Каждый сознавал, что это неизбежно и будет продолжаться до тех пор, пока рабочие не зановоут своих прав. Вспомнилось: «хоть и погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых—дело всегда отзовется на поколениях живых». Время шло. Вот возвращается снова Козлов, бледный, как белый посовой платок или, вернее, как его перчатки, и обращается ко мне ласково и тихо:

«Вот что, голубчик, я не хочу знать, кто вы, но должен сказать, что цесаревич сделать ничего не может, пока он еще не имеет на то права. Пойди и скажи об этом своим рабочим и, если хотят работать, то пусть работают; не хотят,—силой заставлять не будут—пусть ищут, где лучше».

— Вот, если бы так умно разъяснили рабочим, тогда бы ничего и не было,—говорю я ему.

«Голубчик, я же был у вас на фабрике и говорил, но вас не видел. Можете идти, вы свободны».

По дороге из Аничкова дворца я не встретил ни одного знакомого и пошел прямо на фабрику, думая, что по моим пятам идут шпики. Я умышленно прошел мимо участка,

заглянул в ворота. На дворе стояли жандармы. Я обогнул два переулка, зашел в артель рабочих, там застал Родионова. Дорогой я обдумал все. Если рабочим сказать правду, то забастовка провалится и мы ничего не выиграем, а надо поднять дух рабочих. Придя на фабрику, я сказал, что будет назначена комиссия, которая и рассмотрит наше дело. Забастовка окрепла. Наконец, вывесили объявление, что штрафы уничтожаются, что за челноки вычета не будет и за прогул заплатят. Мы победили. Забастовка выиграла, как в моральном, так и в экономическом отношении.

Как-то раз, точно не помню когда, меня и еще двоих товарищей пригласили в студенческую библиотеку. Я, Алешка рыжий и Шилов вечером отправились туда. Там нас наделили прокламациями, которые мы должны были расклеить по Садово-Загородному проспекту и в фабричном районе. Дали нам клейстеру, и мы отправились выполнять свою задачу. Домой мы вернулись поздно. На утро я надел форму посыльного и пошел на свой пост (стоял я тогда на углу Мало-Итальянской и Надеждинки). Кое-где я встречал наклеенные прокламации, а на посту уже читали и удивлялись смелости авторов прокламации и тому, что полиция ничего не знала об этом. В толпе завязался спор. Одни говорили, что этим ничего не сделаешь, что правительство сильно, справится, другие же, напротив, доказывали, что если весь народ захочет—ни одно правительство не сможет справиться. Ясно было, что прокламации заставили развязать языки, и хотя все это было грубо и неуверенно, все же рабочие на всех фабриках повеселели, охотнее стали слушать передовых рабочих и дело пошло к полевению. На некоторых фабриках рабочие уже стали просить, нет ли чего почитать. Таким мы давали полулегальные книги, например: «Хронику села Смурина», «Как мужик двух генералов прокормил» и т. п.

Однако, не долго пришлось мне погулять на воле. Недели две спустя я как-то раз зашел к Парфенову. Там я застал студентов: И. Гласко и Дробыш-Дробышевского. Поговорили и стали расходиться поодиночке. При выходе я заметил пристава, окологородного и полицейских. Я прошел мимо них и отошел шагов на сто или больше, когда меня

нагнал полицейский и пригласил к приставу. Я подчинился и пошел за ним в участок. Из участка повели меня к градоначальнику, а оттуда в Александро-Невскую часть. Посадили в одиночку. Сижу день, другой—ничего не объявляют. На пятый день меня повели в сыскное отделение, где и учинили допрос. В сыском я встретил Казакова и Парфенова, с которыми сговорился никого не признавать на допросе. Я ни в чем не признавался: на фабрике не работал—знать не знаю и ведать не ведаю. Улик никаких. Было постановлено меня и Федьку Казакова отпустить на поруки, Парфенова оставить в сыском отделении. Привели нас в участок. Уже вечером отправили меня в Казанскую часть, а на другой день перевели в Спасскую, где мне снова пришлось встретить Казакова и Парфенова. Мы сидели в ожидании особого распоряжения. Читать было нечего. Нам предложили щипать перо.

Это было в январе 1878 года, а 6-го февраля Вера Ивановна Засулич застрелила градоначальника Трепова *). Мы ликвидировали. Известия с воли нам приносили уголовные. Так мы просидели до мая. В мае нас с Казаковым перевели в пересыльный замок в Демидовский переулок, а Парфенова оставили в Спасской (он был болен). Меня назначили в распоряжение Смоленского губернатора, Казакова—в Костромскую губ., в город Галич. Впервые нам пришлось надеть оковы на руки. В день отправки нас выстроили во дворе попарно и стали надевать наручники, рука с рукой. Тронулись. Впереди шли кандалники, за ними лишенцы и бродяги, а мы в хвосте. Шли мы бодро, обрадовавшись свежему воздуху после тюрьмы. У Николаевского вокзала мы заметили много фабричных товарищей, выпедивших нас провожать. Конвой близко не подпускал их. Когда мы уехали в арестантских вагонах—нам разрешили разговаривать и брать переданные через конвойных вещи от товарищей-рабочих. Я шел в своей одежде, а Казаков в арестантской. Перед отходом поезда вызвали Казакова, и когда он вышел—все провожающие сгрудились в группу, человек в 150, у меня под окном. Тут были родственники, которые разговари-

*) Дата, указанная Мойсеенко, не верна. В. Засулич была (но не застрелила) 24 января 1878 г.

вали тихонько. Когда свидание кончилось, Казаков, сняв свою арестантскую фуражку, крикнул: —Прощайте друзья! —а толпа, как один, крикнула: «ура!» Конвой всполошился. Казакова втокнули в вагон. Дебаркадер хотели очистить от публики, но она сама плотной массой пошла, устроив таким образом маленькую демонстрацию, инициатором которой был Осинский *).

Казаков — природный фабричный, гусяк. Под Москвой, во Владимирской губ. есть местность, называемая Гуслинами. В этих Гуслицах очень развито ткачество и хмелеводство. Редко, кто не работал на фабрике. Все гусяки — старообрядцы, и среди них бродило сильное недовольство правительством. Казаков — парень был видный и работник хороший.

Итак, мы тронулись из Петербурга в Москву.

В вагонах было душно. Хотя нас и расковали, сняли наручни, все же сидеть неподвижно было очень утомительно, а вставать и стоять запрещалось. Ночь спали сидя. Лечь хотя бы на пол не разрешалось. На каждой большой станции высаживали одних и сажали новых арестантов. Кипяток и провизию приносили конвоиры, которые торговали папиросами и табаком, и драли с нас в тридорога.

По приезде в Москву нас снова заковали попарно, сделали перекличку и тронулись в путь с Николаевского вокзала на Пречистенку в пересыльную тюрьму. В то время тюрьма была на Пречистенке и называлась Коломажным

*) Осинский, Валериан Андреевич был сыном богатых родителей. Еще совсем молодым начал принимать деятельное участие в революционном движении, и в 1877 году он с целым рядом видных революционеров того времени организует общество «Земля и Воля». Главная деятельность Осинского проявилась в целом ряде террористических актов. 24 января 1879 г. он, под именем Степана Бойкова, был арестован. Суд приговорил 26-ти летнего Осинского к смертной казни, хотя серьезных улик против него не было, а был осужден только за то, что во время ареста прикоснулся к своему revolverу, не вынимая его даже из кобуры. 14 мая 1879 года Осинского вместе с двумя товарищами повели на казнь. Видя своих друзей в предсмертных судорогах на виселице, на которую ему самому предстояло взойти, он страшно побледнел, но подбежавших к нему в эту минуту жандармов, спрашивающих, не хочет ли он просить о помиловании, прогнал. Уже на ступенях эшафота Осинский энергичным жестом дал понять подошедшему к нему священнику, что так же мало признает небесного царя, как и царей земных. По приказанию начальства военный оркестр заиграл «Камаринскую». Через несколько мгновений Валериан Осинский был повешен.

двором. Что такое Коломажный двор? Вы теперь и представить себе не можете. Строение одноэтажное, низкое (бывшие конюшни), окна маленькие, внутри все застроено нарами, на нарах и под нарами размещается народ, т.-е. арестанты. Тюремная аристократия: —каторжане, бродяги, лишенцы занимали лучшие места на нарах; из них выбирались старосты. Шпана, т.-е. высылаемые за бесписьменность и проч., валялись под нарами и назначались убирать помещение, выносить парашни. Духота и вонь нестерпимая; паразиты всех видов — все это терзало душу и звало к мщению.

Первую ночь в этом аду я не мог уснуть и все думал, что это действительно ад и что такого издевательства над человеческой личностью не мог придумать и сам чорт. Описать эти ужасы нет никакой возможности. Впоследствии видел я много сотен тюрем, но то, что творилось на Коломажном дворе, я более не видал. К счастью моему и многих других, этап на Смоленск отправлялся через день, так что мне пришлось перейти в другое помещение и занять место на нарах, но спать и тут мне не удалось. Меня предупредили, что если я засну, то меня накроют, ограбят, а то и удушат. Такие вещи проделывались почти каждую ночь. Поэтому высыпаться приходилось днем на дворе: присядешь и вздремнешь. Для проверки утром и вечером выстраивали на дворе шеренги и пересчитывали. Пищу для арестантов и хлеб получали старосты и уборщики камер.

Спустя сорок с лишним лет я пишу эти строки, и меня мороз по коже подирает, до того все это было противно. Лишь молодость и вера в святое дело все превозмогли.

Настал день отправки в Смоленск. Выстроили нас на дворе, сделали перекличку и начался обыск. Каждый новый этап обыкновенно сопровождался обыском. Отбирали все: табак, спички, деньги, т.-е. все, что им казалось подозрительным. Повели нас на Брестский вокзал, и распрощался я с Коломажным двором и тов. Казаковым. Здесь та же процедура, что и на Николаевском вокзале, разница лишь в том, что тут меня уже никто не провожал и шел я один среди уголовщины.

Смоленский конвой считался самым строгим. Нас не расковали вплоть по ночи, и только ночью мы могли свободнее двигаться и кое-что перекусить. На каждой большой станции была та же приемка новых арестантов и высаживание старых. В Смоленске всех высадили, заковали и повели в тюрьму. В тюрьме пересыльных посадили в одну камеру, каторжан и бродяг—в другую. В Смоленске пришлось мне просидеть две с половиной недели. Наконец пришло предписание выслать меня на родину, в деревню Сычевки, под гласный надзор полиции с воспрещением выдачи документов в течение трех лет. Меня отправили обратно в Гжатск, а из Гжатска в Сычевки пешим этапом. В Гжатске просидел я неделю. На Сычевки собралась партия человек в 7. Нас заковали в наручни рука с рукой, а по середине протянули между кольцами железный прут таким образом, что все 7 человек оказались скованными (например, если одному требовалось оправиться, то вся партия шла за ним).

От Гжатска до Сычевок 60 верст; шли мы 3 дня. Расковывали нас только для еды, т.-е. вынимали прут и мы по паре могли двигаться. В Сычевках нас привели в полицию. Переночевали в полицейском, а на другой день отправили каждого в свой стан к становому приставу. В стане нам пришлось ждать станового, который изволил где-то гулять. Я не дождался, ушел.

Итак, я снова на воле и без конвоя пришел в свою деревню. Деньги у меня были. Дома я никого не застал. Первое время пришлось быть у родственников. Отец мой работал плотником в соседнем имении в селе Голицыне, верстах в 25 от нашей деревни. Разыскав отца, я просил его принять меня на работу по плотницкому ремеслу. Отец отказал. Пришлось мне слоняться без дела до начала сенокоса. Настал сенокос—работы было по горло. Работал у родственников и у себя. Время летело быстро. После сенокоса началась уборка хлеба. К этому времени приехала жена из Питера, привезла с собой новости: рассказала, как оправдали Веру Ивановну Засулич, как прошла демонстрация, как жандармы хотели арестовать В. И. Засулич и убили одного из студентов. Когда я услышал все это, во мне за-

горелась жажда мести и борьбы. Вскоре я жену снова проводил в Питер, а сам стал собираться к побегу.

В августе 1878 г. дошел слух, что убит Мезенцев, которому я носил письма. *) Значит, одного негодяя убрали, теперь очередь за другими. О своем побеге я сказал только одному человеку, дальнему родственнику, который помогал выручать арестованных после Казанской демонстрации. Я просил его писать мне в случае переполоха после моей отлучки. Уехал, рассчитывая, что документ достану.

В Питере, только я вышел с вокзала, мне бросились в глаза вооруженные патрули на всех углах и перекрестках. Питер оказался в осадном положении. Быстрыми шагами направился я за Нарвскую заставу, где было все тихо: ни обысков, ни арестов не было. В первое же свидание с товарищами-рабочими они преподнесли мне маленький листок, в котором описывались наши проводы на Николаевском вокзале, отношение рабочих к этим проводам. (Здесь я должен пояснить, что в то время у меня не было фамилии и звали меня просто Петром Анисимовым. Это отчество служило мне также и фамилией). Рабочие всюду встречали меня с радостью. Никто из них не заикнулся, есть ли у меня документ на прожитие. На другой вечер меня познакомили с новой литературой, свели к Виноградову, студенту Технологического института, и Благовещенскому, которым я объяснил свое положение. На этом совещании решили, что я должен взять свою жену с фабрики, нанять квартиру и обставить ее наиболее конспиративно. Документ мне обещали приготовить. Я стал агитировать среди рабочих за Нарвской заставой и на Ново-Бумагопрядильной фабрике, создавать кружки, тройки и пятерки. Дело шло успешно. Сильное впечатление на рабочих производило стихотворение по поводу убийства Мезенцева, а также летучие листки и чтение легальных и нелегальных брошюр.

Виноградов задумал познакомить меня с бывшим народным учителем, неким Потехиным. Жил он в Коломне,

*) Генерала Мезенцева убил 4 августа 1878 г. С. Кравчинский (Степняк).

недалеко от Михайловской церкви. Мы застали его дома. Он засуетился с закуской и чаем, и мне сразу бросилось в глаза, что это не наш инстинкт подсказывал, что это шпион. Он обещал достать денег и все устроить нам. Выйдя от него, я высказал свое подозрение, но Виноградов не придал этому никакого значения, говоря, что это не социалист, а либерал и т. д. Ну, ладно, пусть будет по вашему. Я стал ходить к нему, и как-то раз предложил ему, как учителю, заняться обучением воспитанницы и брата, на что он согласился. Привел его к себе, познакомил со своей семьей и порешили, что он будет три раза в неделю по вечерам заниматься. Потехин, видя, что я его использую только как учителя, не больше, дал мне адрес на Загородный проспект к некоему Федоровичу, который должен был дать средства на наем квартиры и т. п. Федорович встретил меня с распростертыми объятиями: угостил завтраком, показал некоторые нелегальные брошюры, обещал все устроить и говорил, что деньги найдутся; спрашивал также о кружках, о рабочих и прочее. Я на все отвечал не охотно. Вдруг Федорович заявляет, что желательно было бы объединиться с типографией народной, но он никого не знает, я на это ответил ему тоже незнанием. Я поведал свои подозрения насчет шпионства Федоровича. Мы решили проверить. До моего знакомства с Федоровичем, им уже был пристроен паренек, приехавший из Москвы, которого мы решили призвать и спросить. Оказалось, что Федорович выпытывал обо всем, старался узнавать адреса и т. д. После этого не было никакого сомнения, что мы попали к шпионам. Оставалось только собрать более резкие улики. Придя к Федоровичу во второй раз, я был настороже, разговор велся на тему о квартире и будущей организации. Денег на первый раз для найма квартиры я получил 37 руб.; на обстановку было обещано отдельно.

Мне приходилось ночевать в разных местах. Последнее мое свидание с Федоровичем было в конце 1878 года. На вопрос, где моя квартира, я ответил ему, что в Измайловском полку, 10-я рота, номер такой-то. Выйдя от Федоровича, я заметил, что за мной, не отставая, идут два шпиона. Я выскочил на Обводный канал, забежал во двор трактира

и прямо в уборную. Только что успел я притворить дверь, слышу—бегут, говорят, что здесь, и бросаются в верхние этажи. Я воспользовался этим временем и удрал. Ночевать мне пришлось на одной из Рождественских улиц, вблизи участка, у одного художника. У Нарвской заставы была квартира, которую всеми силами старались сохранить, так как служила нам сборным пунктом. Жить там мне приходилось временно.

2. Стачка на Ново-Бумагопрядильной фабрике в 1879 г., арест и ссылка в Сибирь.

Тем временем на Ново-Бумагопрядильной фабрике назревала забастовка. Приходилось агитировать за Нарвской и в Екатерингофе*), собирать сведения о ходе работы в них. За Нарвской и на Ново-Бумагопрядильне товарищи были дружно настроены; на других же фабриках было слабовато, например, на Выборгскую рассчитывать совсем нельзя было, поэтому все внимание мы сосредоточили на Новой Канаве**), за Нарвской и Екатерингофе. Было условлено, что как только начнется на Новой Канаве,—сейчас же дать знать за Нарвскую.

В назначенный день мне пришлось опять поступить на фабрику для агитации и с обеда объявить забастовку***). На этот раз рабочие ткачи, а также и прядильщики были более уверены в правоте своего дела. Забастовка началась очень дружно. За Нарвской (читай: на фабрике Шау. А. К.) стоило мне только остановиться против фабрики, как рабочие меня поняли и началось движение. Вышел конторщик и сообщил мне, что фабрика забастовала. Собрались мы в одной из артелей ткачей, где и наметили план требований. Эти требования были предъявлены конторе, мы же, более сознательные рабочие, собрались на квартире моей жены и обсудили дальнейший ход забастовки. Все это время с нами

находился тов. Виноградов, молодой, энергичный. Он почти день и ночь работал. Решили напечатать воззвания ко всем рабочим Питера. Поручили это дело Виноградову. Он обещался. Я с товарищем Штрипаном отправился на Екатерингофскую и там решили, чтобы ткачи из Нарвской избрали делегацию к ткачам на Новой Канаве и выступили с приветствием и призывом к общей поддержке. Все было подготовлено. На ночлег пошел на Новую Канаву, там мне передали, что приходили товарищи-интеллигенты и обещали зайти завтра.

На другой день с утра стали приходить рабочие, собирающиеся о ходе событий. От них я узнал, что во дворе участка стоят кошные жандармы, что народ уже собирался, после чего разбился на группы; некоторые из ткачей пошли по трактирам высматривать шпижов, и были случаи выпроживания последних из трактиров. Ткачи вели себя образцово; порядок нигде не был нарушен; пьянство не допускалось; чувствовалось, что рабочие уже многому научились. Пропаганда велась усиленно. Сами рабочие требовали опубликовать в газетах и выпустить листки о стачке. Часам к 12-ти дня пришла делегация из-за Нарвской заставы. Открыли общее собрание. Говорили Виноградов, я и другие. На собрании было решено: все рабочие должны дружно поддерживать друг друга и ни на какие уступки не идти без общего на то согласия. Когда на собрание пожаловала полиция, ее попросили убраться, мотивируя тем, что беспорядков среди нас не наблюдалось, а если полиция заметит кого-либо, нарушающего порядок, пусть объявит о том нам, и мы сами сумеем наказать. Так закончилось дневное собрание.

На вечернем собрании я предложил с Ново-Бумагопрядильной пойти за Нарвскую и в Екатерингоф, предупредив, чтобы обычной дорогой не ходили, а шли около Московской заставы через Митрофановское кладбище, так как знал по опыту, что шпики увяжутся по пятам и будут следить, в глухую же местность они не рискнут идти. Мои предположения оправдались: шпики и жандармы гонялись

*) Моисеенко упоминает Екатерингоф, имея в виду Екатерингофскую мануфактуру.

**) Обводный канал, где находилась Ново-Бумагопрядильня, рабочими назывался Новой Канавой.

***) О причинах забастовки и о том как она протекала см. приложение.

*) Был революционером, потом стал провокатором.

за нами, но никак не могли узнать, где мы. В этот вечер пришли к нам Халтурин с Обнорским. Собрались все в артели, выделили двух товарищей: Абраменкова и другого (фамилии его не помню) и послали за Невскую заставу, где они должны были оповестить тамошних рабочих о забастовке, обещав на завтра выпустить летучку. Я говорил, что мы подвергаемся риску, так как у нас нет никакого оружия. В ответ на мои слова Халтурин достал свой кинжал, педал его мне, а для других обещал достать финские ножи. За Нарвскую заставу они не пожелали идти; тогда направились Виноградов и я. Там мы при многочисленном стечении рабочих провели собрание, после окончания которого пошли в деревню Волянку на Екатерингофскую фабрику.

У ворот фабрики стояло много народу. Первый начал говорить Виноградов. Говорил он о том, что на Новой Канаве рабочие требуют прибавки заработной платы, уничтожения штрафов и вычетов за прогулы и т. п. После Виноградова произнес речь я. В своей речи я пояснил значение общего движения рабочих; говорил, как нужно поддерживать друг друга и т. д. Собравшиеся слушали внимательно до тех пор, пока не подошел полицейский и крикнул:—Что за собрание? Расходитесь!—Мало-по-малу слушатели стали расходиться, а мы со своей группой направились к фабрике Шау. Вскоре мы увидели, что за нами бежит кучка людей с криками:—«Студенты! Бунтовщики!»—Опасаясь свалки и побоища, мы с Виноградовым посоветовали своим уходить поскорее. Кучка черносотенников была уже близко, кричала одно: «бей студентов». Я остановился, вынул кинжал из ножен, клинок блеснул в воздухе и сразу остановил тем толпу, мигом поворотившую назад, а сам бросился бежать.

На завтра фабрика Шау забастовала, за ней и Екатерингофская. Жандармы целым эскадроном ездил, разыскивая собрания, но не найдя, уехали обратно на Новую Канаву. На следующий день была готова летучка. Надо было распространить и ночью расклеить. Весь день я бегал, так что поесть было даже некогда, да вообще за все это время есть мне приходилось, где придется. Вечером в этот день решили собраться на квартире моей жены, так как более удобного места не находилось, да и дело показывало, что это последнее

собрание в районе Нарвской заставы. Мы ясно видели, как бесновалась полиция и жандармы. На собрание Виноградов привел и Потехина. На этом собрании наметили дальнейший ход работы. Решили подать прошение градоначальнику, потому что рабочие, в особенности Ново-Канавские, горели нетерпением довести дело до конца. Они не учитывали, что прошение ничего не даст. Но в то время трудно было вразумить массу, что градоначальник друг фабрикантов, а не рабочих и т. д. Насколько это было возможно, мы сдерживали рабочих и вели политику выдержки, но видя, как рвется рабочий, мы и сами заражались энтузиазмом и волей-неволей становились наряду со всеми. В этот день собрались все на пустопорожном месте в ожидании объявления администрации фабрики. Наши лазутчики, т.-е. дети, доносили нам, что во дворе участка стоят много жандармов. Порешили к завтрашнему дню еще раз вывесить свои требования.

Из-за Нарвской заставы поступили сведения, что там некоторые семейные ткачи нуждаются в помощи. Мы сделали сбор, но наша помощь была недостаточна. Пошел к студентам и курсисткам позондировать почву, нельзя ли помочь нуждающимся, так как при таких условиях продолжать забастовку немислимо. Встретившись с Софьей Перовской, я рассказал ей все, что мне, как нелегальному, в районе забастовок почевать нельзя, что надо где-либо устроиться на эту ночь. Она предложила мне свою комнату. Что касается сбора денег, то пообещала постараться их достать. Так прошел день. Набегался я, устал, а в 11 часов вечера отправился к Перовской, где застал еще трех курсисток. Взяли они Соню с собой, предоставив мне постель и подушку. Скоро я уснул сном праведника. Рано утром я проснулся, позвал хозяйку и сказал ей, что ухожу.

Полиция все же сумела спровоцировать рабочих, явившись на собрание целой оравой с предложением идти к приставу поговорить. Рабочие двинулись всей массой за полицейским и, дойдя до Обводного канала, с криком «ура» бросились за канал. Собравшись на другой стороне Обводного канала, решили идти всей массой на Гороховую к градоначальнику. В это время шпики на извозчиках проехали мимо рабочих. Рабочие освистали их. Лишь только вышли

на Фонтанку—откуда-то взялся эскадрон конных жандармов и начали хватать за шиворот всякого, кто подвергивался под руку. Я избавился от такого удовольствия, так как скоро перебежал на набережную и, как посторонний, начал наблюдать. Человек пятьдесят захватили и погнали в Московскую часть. Я, Абраменков и некоторые товарищи отправились в Коломну к Потехину, чтобы написать прошение о насилии жандармов и на завтра же подать градоначальнику. Послали сказать за Нарвскую, чтобы и от туда пришли рабочие. Пока писали и обсуждали, Потехин послал за закуской и водкой. Выпили, закусили честь-честью, вооружились ножами, протест вручили Коняеву и стали расходиться по двое и в одиночку; при выходе перодетые жандармы хватали нас и отводили в Коломенскую часть, где уже были приготовлены камеры.

Арестованных было 11 человек, из них двое малолетних (мой брат и брат Штрипана). В эту же ночь обыскали квартиру моей жены, но ее оставили. При аресте я назвал себя Осипом Ивановым, уроженцем Владимирской губ. Покровского уезда; но когда арестовали брата и свели нас на очную ставку, то произошел целый скандал.

Спрашивают братишку: «Это ваш брат?»

Тот отвечает:—Да.

Я крикнул на братишку: «Что ты врешь, кто тебя научил врать? Я не брат тебе».

Тогда братишка говорит:—Нет, это не брат.

Пристав затопал ногами и начал кричать на меня, на что я тоже крикнул ему:

«Меня не испугаешь, я не ребенок!»

Жандармский ротмистр приказал приставу замолчать. Братишку увели, а вслед за ним и меня. Вот начало нашего ареста.

По дороге в часть я выбросил кинжал на землю. Я уже знал, кто где сидит. Братишек наших посадили в уголовную камеру, а с ними и еще кое-кого из рабочих. На другой день меня посадили в темный карцер. Ну, думаю, начинается. Сижу день и ночь. Нацупал в печи кованный большой гвоздь. Задумал вызвать смотрителя и, если тот откажется перевести меня в камеру, улучшить минуту

и всадить ему гвоздь в глаз. Барабаню в дверь, как можно сильнее. Приходит надзиратель. «Прошу вызвать ко мне смотрителя по очень важному делу», говорю я. Через полчаса приходит смотритель с двумя надзирателями. Спрашиваю, за что они посадили меня в карцер? Смотритель объясняет, что камера была нужна для одного очень важного арестанта, к тому же женщине; сейчас ее уводят, и я смогу занять свою камеру. На вопрос смотрителя, почему я отказываюсь от своего настоящего имени,—все равно меня уличат не только брат, но и все мои товарищи,—я ответил:

— Я знаю сам, что делаю; вы не жандарм и не следователь, и вам безразлично, как бы я ни назвался; вы вот скорее переведите меня, это будет лучше.

Смотритель приказал сейчас же приготовить камеру и перевести меня. Через полчаса меня перевели на прежнее место, и жизнь потекла монотонно и однообразно, сегодня, как вчера. Режим в Коломенской части был убийственный: книг никаких, даже евангелия нельзя было добиться; свидания с родственниками не давали; прогулки хотя бы на пять минут не разрешались. После допроса наших братишек освободили. Начали допрашивать нас. Допрашивали в третьем отделении, куда возили нас в каретах. Мы все отказывались друг от друга, что знать не знаем, ведать не ведаем.

Однажды меня повезли в одной карете с Виноградовым,—только тогда я и узнал, что он арестован. Где он сидел, в какой части,—не знаю. Свели нас на очную ставку, на которой мы, конечно, отказались друг от друга. Тогда жандармский полковник заставил меня писать протокол под его диктовку. Теперь я пишу неважно, тогда же писал совсем плохо, чем вызывал недовольство полковника. Так меня возили несколько раз, пока не убедились, что от меня ничего не добьешься. В протоколе обозначили два имени: Петр Анисимов, он же Осип Иванов.

Сидим месяц, другой, третий,—ничего не слышно. С товарищами разговариваю через форточки, выходящие во двор, или перестукиваюсь. Перестукиваться нас научил Лука Иванович Абраменков. Но этого было мало. Стали мы нервничать, требовать бани, прогулки и т. д. На наши требования—

нуль внимания. Только одного меня свели в ванну при малолетней тюрьме, тут же в Коломенской части. Мы со Штрипаном задумали писать, кто что может, но у нас не было ни бумаги, ни карандаша. Ухитрились спичкой писать на стене; потом стали утилизировать свинцовую обертку от чая. Так нами было написано стихотворение «Ткачи». Первую половину написал Штрипан, вторую я. Привожу полностью оба стихотворения, так как они нигде не были напечатаны:

Т к а ч и

С утра до ночи в заботе
Мы на фабрике в работе,
Чисто как в аду.
Как пришел,—пальтишко скинул,
Взял крючок, согнувши спину,
Целый день в ходу.
Шибко вертится станок;
Бдургу ту-ту летит челнок
И ударит в бок.
Б краю нитка порвалась,
И корзина наплелась,—
Ткач остановил.
Отвернул набор рукою,
Бзял щипцы, полил водою,
Голову склонил.
Он таскал нитку за ниткой,
Тут ему с соседней кидки
В спину челноком.
Он назад тут обернулся,
Шибко, крепко он ругнулся,
Грозил кулаком.
Бзял щипцы, на место вторнул,
И навои назад надернул,
И станок пустил.
На другой оборотился
И за ручку ухватился,
Плюнул на станок.
Там корзина преболяшая,
Да широкая такая—
Задаром кусок.
Тут станки оба на якорь—
Чуть с дасады не заплакал
И в заход пошел.
Там полным полно народу;
Говорят, с нового года
Вздорожит вино.
Об вине, братцы, не дело,
Надо взаться нам за дело—
Плохо нам житье.
Всякий ткач про это знает,

Как хозяин обирает
Всех нас до чиста.
На Канаве забастовка;
От хозяина прибавки
Требуют ткачи.
И нам тоже, братцы, надо,
Чорт с ней за год рубль награды!
Давай и мы,
А и то ведь, братцы, дело:
Ну - ка дружно все, да смело
Крикните—ура!
Тут все разом закричали,
Вон из фабрики бежали:
Стачка и у нас.
Вот за это тоже дело,
Что стакнулись дружно, смело,
Нас в тюрьму сажать.
Нас жандармы забирали,
По тюрьмам всех разогнали,
Всех по одному.
И допрашивали нас,
Кто зачинщик был у вас?
Что за человек?
Мы жандармам отвечали,
Мы зачинщика не знаем:
Все мы таковы.
Нам зачинщика не надо:
Наш хозяин обирало—
Всеу он виной,
Обирает нас кругом,
Не кнутом бьет, а рублем,
Все пишет штрафы.
Вот за эти то штрафы
И стакнулись то мы,
Чтобы не писал,
Чтоб прибавил за работу.
В ночь под праздник не работать—
Не по силе нам.
С восьми вечера ты станешь,
До восьми утра прядешь—

Тут - то каково!
В голове тут закружится
И в глазах уж помутится,
Ходишь, как глумной.
А машина все вертится,
И в руках уж не спорится,
И предсесть нельзя,
На окно если присел,
То полтинник, глядишь, съел:
Штрафуют тебя.
Ай-да! славно песня вышла
Про житье - бытие фабрично,—
То - то молодцы!

1879 г.

Штрипан, Моисеенко.

ВТОРАЯ ПЕСНЯ.

Я хочу вам рассказать,
Как нас стали обирать
Дармоеды кулаки,

Полицейские крючки.
А министры да цари
На нас смотрят издали—
Указ новый написали,
Чтобы чище обирали,
Попы пьяные орали,
Народ бедный надували.
Царь наш батюшка - спаситель,
Нашей шайки предводитель,
Хорошо ты управляешь:
Честных в каторгу ссылаешь,
Суд военный утвердил.
Полны тюрьмы понабил,
Запретил всему народу
Говорить ты про свободу.
Кто осмелится сказать—
Велит вешать и стрелять.

1879 г.

Моисеенко.

Писали мы эти стихи как раз после покушения Со-ловьева. За эти писания нам доставалось: нас оставляли без кипятку, отбирали евангелие, бумагу всякую. Нам ничего не оставалось больше делать, как чертить на стенах. Со стен однако соскабливали.

Я стал задумываться, как вырваться отсюда, хотя бы в дом предварительного заключения. Товарищ мой. Штрипан, заболел кровавым поносом. Я потребовал смотрителя и заявил ему, чтобы больного отправили в больницу. Смотритель ответил, что в больницах нет мест, когда будет—его отправят.

Вечером я вызываю всех товарищей к форточкам и говорю им, как быть нам дальше, что так продолжаться не может; мы, с своей стороны, должны сделать все, что в наших силах и что возможно, а возможно нам только одно: объявить голодовку, не принимать пищи до тех пор, пока не удовлетворят наших требований. Другого оружия у нас нет.—«Вы помните и знаете, как сделали наши товарищи в Харькове, в Ново-Белгородской тюрьме; вы читали брошюру «Заживо погребенные»?—так помните, что у нас есть только одно оружие, к которому мы должны прибегнуть. Не все ли равно, где погибать и когда. Штрипан сегодня, завтра Лука и всех нас заморят поодиночке. Нет, умирать, так

умирать всем. Помните, русскую поговорку: «На миру и смерть красна». Так вот, товарищи, дайте мне ответ».

Лука Абраменков меня поддержал, и мы решили с следующего дня не принимать пищи и выполнить это свято. На завтра мы почти не разговаривали, все были заняты своими думами. Пришло время обеда. Надзиратели принесли обед и хлеба. Прислушиваюсь,—ничего не слышно; только хлопали дверьми. Думаю, неужели изменили? Доходит очередь до меня (я сидел самым последним). Входит надзиратель с чашкой щей, ставит на стол. Я беру паек хлеба и бросаю в чашку со словами: «возьми обратно, я пищи принимать не буду». Кричу это громко, так, чтобы товарищи слышали. Надзиратель опешил,—стоит и не знает, что делать. Тогда я кричу надзирателю еще раз:—«Возьми чашку и неси смотрителю и скажи ему, что мы пищи принимать не будем».—Надзиратель берет чашку с хлебом и уходит, а я кричу товарищам, чтобы никто из них не смел прикасаться к пище. Слышу шум по корридору. Идут прямо к моей камере. Я стал у стола. Подходит помощник смотрителя к волчку. Я беру в руки табуретку и думаю, если станут забирать, буду сопротивляться. Но помощник только полаялся у волчка и ушел. Вечером пришел смотритель. Видя, что я лежу, грубо обратился со словами:

— Подохнете, никто и знать не будет; мы умеем с вами справляться—и удалился.

На другой день я посоветовал товарищам не вставать и не растрчивать напрасно сил, потребовать прокурора и инспектора врачебного отдела, потому что у нас у всех и до этого уже развивался скорбут.

Перед обедом этого дня смотритель обошел всех и угрожал бросить голодать и не слушать «зверька», как он меня называл. Но на это ему заявили, что до тех пор не примут пищи, пока больных не отправят в больницу и пока не придет прокурор и инспектор. Так и пришлось ему уйти, ничего не добившись.

В этот день ко мне пришла воспитанница. Я увидел ее во дворе и крикнул, чтобы она сказала всем, что мы голодаем и не принимаем пищи. Принесенные ею продукты я хотел отослать обратно, но надзиратель сказал, что она уже

ушла. Принявши все, я уложил на окно, но ни к чему не дритронулся. Перед вечером слышу какое-то движение. Оказалось, что снизу, т.-е. с нижнего этажа увезли товарища интеллигента и Луку Абраменкова. Потом, слышу, вызвали и Штрипана,—значит, началось очищение. Вечером посетил меня смотритель. Он был очень ласковым. Начал объяснять, что вот, мол, как только стала возможность, сейчас же отправил в больницу, что ему пришлось изъездить все тюремные больницы, и везде полно, что напрасно мы затеяли голодовку и просил бросить все это и пожалеть его, так как он человек семейный и т. п. Некоторые товарищи поддались его увещаниям и начали принимать пищу, но я и еще некоторые, более твердые, продолжали голодать.

Это был уже 4-й день. На пятый день перед вечером посетил нас прокурор, а потом инспектор. Прокурору мы изложили все, и я заявил категорически, что скорее умру, чем перенесу такие пытки, и если мы виноваты, то пусть нас судят, но не издеваются над нами. На это прокурор ответил юдно: мы находимся за жандармским правлением, а не за окружным судом, но он постарается, чтобы нас перевели ютсюда. Инспектор осмотрел всех нас и нашел, что такое бесчеловечное отношение довело до того, что у всех заключенных образовались язвы на теле и выпадают зубы. Смотритель мог только ответить, что этот взят с кинжалом. Инспектор зло засмеялся и сказал, что он не прокурор и не жандарм, следствия не производит, а изнурять людей до такой степени не позволительно и он обязан доложить обо всем, куда следует. Посоветовал нам принимать пищу понемногу, зараз не налегать, а то будет плохо и обещал завтра же перевести.

Так закончилась наша голодовка, продолжавшаяся пять дней. Вечером принесли нам кипяток, и мы вкусили то, что могли, а на завтра действительно нас всех отправили в предварилку. При отправке не оказалось моей шапки (а шапка была бобровая, Потехина), и мне дали каракулевую. Ну, думаю, чорт с вами. Сели зимой, а теперь лето, хорошо и так.

В канцелярии предварилки спрашивают, собирались ли мы в Америку. На наш вопрос, откуда они узнали, нам

ответили, что смотритель Коломенской части пишет об этом. Вскоре меня водворили в камеру. Осматриваюсь. Прежде всего заметил надписи своих предшественников. Сколько их тут перебывало!

Обстановка камеры следующая: стол железный и табурет привинчены к стене, кровать с матрацом и подушкой тоже привинчены к стене, на стене полочка железная, стоит на ней оловянная кружка и металлические миска и тарелка, окно высоко, под окном роковина для умывания, в углу параша, дверь окована железом, в двери форточка для подачи пищи, в верхней части волчок или глазок, как его называют, потолок сводом, пол цементный, — словом, склеп для мертвеца, поглядеть некуда. В окно видна только часть неба, и только. Впечатление очень неприятное. В определенные часы открывается форточка, подают кипяток, а вечером ужин. Свет гасится в 9 часов.

На завтра приходит тюремный врач, осмотрел меня, ничего не сказал и ушел. Я вызвал надзирателя и попросил у него книг. Надзиратель объяснил мне, что книги из библиотеки разносит один раз в день особый надзиратель, и что скоро он будет разносить.

Первую книгу, которую мне принесли из библиотеки, было «Путешествие от Питера до Москвы» Радищева. Я не знаю, как выразить то чувство, которое на меня произвела эта книга. Я плакал, злился, возмущался. Ведь я хорошо помнил крепостное право и сам был бит барином, хотя тогда мне и было не более пяти лет. Эта книга всколыхнула во мне всю горечь и ненависть против помещиков.

Меня перевели в больницу, тоже в одиночную камеру, но белье и посуда чище были там. Интересный случай был со мной в больнице. Тюремный врач был в отпуску, его заменял другой врач, пожилой, с проседью. Во время обхода камер, он вежливо спросил, как моя фамилия. Я сказал. Тогда он потихоньку дернул меня за рукав и шепнул: «молодец». Затем он приказал фельдшеру выписать мне усиленную порцию кислой капусты, хрена, яиц, молока, белого хлеба и даже водки два раза в день по унцу (когда узнал, что я пью ее) и лимон для натирания десен. Вот таким образом началась моя жизнь в предварилке. Скоро я озна-

комился с тамошними порядками и усиленно занялся чтением. С этого то времени и началось мое умственное развитие.

Кончался 79-й год. Я знал, что нас политических в предварилке 156 человек. Со многими я переговаривался и даже встретил на прогулке Виноградова. На прогулку нас пускали каждый день на полчаса. Для прогулки был устроен во дворе огромный круг. Посредине круга возвышалась площадка, на которой находился надзиратель и смотрел за гуляющими. Круг был разбит на 14 клеток. В каждую клетку выпускали по одному и строго следили, чтобы гуляющие не переговаривались между собой. Только и можно было видеть людей на прогулке и в церкви, в которую водили тоже поодиночке (в одиночную нишу с решетчатым окном в зале храма). Видишь, когда уходят и приходят. Для этого только и ходили в церковь.

Ванна или баня была один раз в две недели. Продукты выписывались особым надзирателем для тех, у которых были деньги в конторе. Выписывали все — вплоть до водки, по разрешению врача. В общей камере сидело политических человек пять-семь. Свидание давали тоже через нишу водичку. Приносимое после осмотра передавалось на руки. Вот краткое описание жизни в предварилке.

В тюрьме, начиная с 1880 г., я много читал. Прочел «Историю России» Соловьева; Костомарова, Толстого «Война и мир», историю крестьянского движения 1525 г. и много других книг. Потом перешел на журналы: «Вестник Европы», «Отечественные записки» и т. д.

В одном из номеров «Вестника Европы» попала мне драматическая хроника «Стенька Разин» Кавроцкого. Прочитав первый раз, я был вне себя. Меня поразило то, как это так нагло обманывают народ, выставляя Разина преданным анафеме разбойником за то, что он был мстителем за поруганную честь народную, за то, что боролся за вольную волюшку, звал народ сбросить вековые цепи рабства, и желал только освободить народ из-под ига боярского. Приходилось удивляться силе воли этого человека. Кто мог вытерпеть такие пытки? — никто, один только Степан Тимофеевич Разин. Верно сказал С. Т. Разин, что коли-мать иско-

ренить нельзя; гонимая, забитая повсюду, она в душах поруганнах таилась и все ждала и дождалась кровавого расчета за былое. Я бредил этим произведением не только в предварилке, но и в ссылке и на воле. Даже сейчас, в эти минуты, когда пишу эти строки, при воспоминании об этом произведении, я чувствую в себе прилив энергии, молодости и силы. Желаящие поближе ознакомиться с этим произведением могут найти его в «Вестнике Европы», издание Стасюлевича.

Я должен вернуться к своей одиночной жизни. Несмотря на то, что это было так давно, все же такие дела не проходят бесследно.

1880 г. в феврале мы все были опечалены неудавшимся взрывом в Зимнем дворце. Весть эта распространилась с невероятною быстротою, все передавали друг другу эту новость, шли разные предположения: одни говорили, что взрыв был удачен, но царь задержался в других половинах дворца, а поэтому и не попал и т. д. Это событие на долгое время нас занимало. Тюремная администрация реагировала на это по своему: к нам, политическим, стал применяться более суровый режим. Такое отношение служило нам барометром, — указывало, что на воле ничего хорошего для нас не случилось, а наоборот. Сидим второй год и не знаем, когда будут нас судить. Жена ходила ко мне каждую неделю и тоже томилась неизвестностью.

Наконец, в июне месяце в один прекрасный день приходит надзиратель и заявляет: «Собирайте ваши вещи!» — для чего — не объясняет, ведет на второй этаж. По дороге увидел своих товарищей, рабочих, — их куда-то вели. Меня посадили в камеру; ну, думаю, это что-то не так: или выпустят, или отправляют куда-либо. — В коридоре тихо, ни звука. Стучу — никто не отзывается. Из окна вижу — на прогулке ходят товарищи. Распрашиваю, что сей сон означает. Мне отвечают: наверное высылают куда-либо. Я говорю, что сегодня как раз была жена на свидании и мне ничего не сказала. Ну, и что же, и никогда не скажут, у них своя политика, просто напроосто пошлют и дело с концом. Разговаривая так, я услышал шаги по корридору, прыгнул с окна, сел на табуретку. Вдруг слышу кого-то вызывают; потом, немного погодя, отворяется дверь и надзиратель спрашивает,

как фамилия? — Я отвечаю — Анисимов. — Одевайтесь, забирайте свои вещи в канцелярию. — В канцелярии подают бумагу со словами: — распишитесь, что вы не убежите из ссылки и сдайте казенные вещи. — Снимаю коты, бушлат, получаю свои вещи и одеваюсь. Появляются два жандарма, получают бумаги и приглашают следовать за ними. У дверей стояла черная карета. Ну, думаю, в Петропавловскую; уселись и поехали. Со Шпалерной свернули на Знаменскую; я думаю, значит на вокзал, так оно и вышло. Приехали на Николаевский вокзал, подкатили к дебаркадеру. Поезд стоял на пути, но странно, не видать было арестантских вагонов. Жандармы взяли наши вещи и пригласили следовать за ними. Ввели нас в вагон.

В вагоне уже были мои товарищи: Лука Абраменков, Онуфрий и Гараська. Лука был привезен из Литовского замка, а мы трое из предварилки. Все мы подписывали бумаги и никто не спросил, куда отправляют. Жандармы тоже не говорят — молчат, как мумии. Поговорили, посоветовались, стали закусывать. Поезд уже мчался по Николаевской дороге. В вагоне, кроме нас и жандармов, никого не было. Наконец, нам жандармы сказали, что Онуфрия и Гараську на Москву, а меня и Луку в Тверь. Я тогда ничего не знал. Спрашиваю Луку, почему в Тверь? Лука кое-что слышал, но тоже верного ничего не знает, и говорит, что нас отправят в восточную Сибирь на поселение, а Онуфрия и Гараську — этих наверное на родину под надзор полиции.

Денег у нас ни у кого не было. Выдали нам порционные по 10 коп. в сутки. Так мы доехали до Твери. В Твери распростились: те поехали в Москву, а мы с Лукой и жандармами на извозчиках в канцелярию губернатора. Отсюда нас повели в фотографию и нам сообщили, что высылаемся административным порядком в восточную Сибирь и там будем жить до особого распоряжения. Срок должна была указать заседавшая в то время комиссия Коханова. Отправили нас в Вышний Волочек.

Приехали вечером; погода стояла прекрасная. От станции до тюрьмы мы шли пешком. Как хорошо было размять свои члены от полутораговой сидки в одиночке, кажется, шел бы и шел дальше! Но вот тюрьма. Ввели нас в канцеля-

рию, где смотритель из старых жандармов принял нас, попросил вещи оставить здесь до завтра, лишь взять с собой табак, спички и бумагу. Надзиратели повели нас в корпус; там уже почти все собрались и вышли во двор. Тюрьма оказывается не запиралась на ночь, все камеры были отперты. Жили по двое и по трое, кто с кем хотел. Встретили нас товарищи очень радушно, все уже знали нас по предварилке.

Так как время было позднее, мы разошлись по камерам. Я поместился в одной камере с Грабовским, а Лука с другими. Койки и матрасы с бельем были приготовлены; и я уснул сном праведника, давно не видавшего такого количества товарищей.

Проснулся, когда уже товарищи собирались в столовую пить кофе. Умылся, оделся, все честь честью и пошел в столовую. Там уже все были в сборе, каждый со своей кружкой. Поздоровались. Мне дали кружку и кусок хлеба. Разливали кофе с молоком и сахаром, сваренный в общей большой кастрюле, — каждому по кружке, больше не полагалось. Мне объяснили, что на кормовые деньги, которые нам причитаются, товарищи столовались сообща, если был недостаток, то пополнялся он из общих сумм товарищей, деньги которых находились в конторе. Привилегированные получали кормовых 15 коп., непривилегированные — 10 к. Для ведения дела был избран староста. Обед готовили по очереди так называемые дежурные. Каждый убирал свою камеру; единение было полное, отношение товарищеское.

После завтрака собрались во дворе, расселись прямо на земле, — начиналось воспоминание, распросы про отсутствовавших товарищей и т. д. Кто-то запел. Попросили спеть что-либо и нас с Лукой Ивановичем. Помню, запели мы «Утес», потом «Стеньку Разина». Пение наше произвело очень сильное впечатление не только на товарищей, но и на весь караул и самого смотрителя. Начальник караула просил даже переписать эти песни. Но особенный фурор произвела другая песня, «Ткачи», тут уже товарищи прямо не давали отдыха — пой им «Ткачей».

Время распределено было так: после кофе — час прогулки, затем пение, желающие учиться — шли на уроки географии, арифметики, математики, физики и т. д., кто что мог.

Здесь то мне и пришлось близко познакомиться с Вл. Г. Короленко. Не могу никак забыть этой светлой личности; на всех нас он производил обаятельное впечатление, все мы его любили, и он всех нас любил одинаково. После занятий до обеда устраивали игры в шашки, в шахматы. Было нас около сорока человек, из коих рабочих было не более 5—6 человек, остальные — интеллигенция. Скоро к нам прибыли Бердников, Левенталь (последний по делу доктора Веймера). Почти каждую неделю прибывали новые товарищи. Из Варшавы прибыло слишком 20 человек; прибыли старые знакомые: Глазго и Дробыш-Дробышевский. О, если бы теперь тот список товарищей! Многих уже нет в живых, а если кто и жив, то все это давно забыто.

Мне пришлось писать в Питер жене, уведомить, что меня высылают в восточную Сибирь, и если сна желает следовать за мной, то чтобы ехала в Вышний Волочек или письмом уведомила бы меня, едет она со мною или нет, так как нужно было писать министру внутренних дел и получить разрешение. Вскоре приехала жена. Написал министру прошение, и через некоторое время получил разрешение. Стали ждать отправки в сибирские пределы. Партия наша в финансовом отношении разделилась на две половины: часть более богатых не захотели примкнуть к крайним левым, у которых все было общее. Осмотрели, что у кого нехватает — заказывали. Скоро нас стали осматривать: отмечали рост, приметы и т. п. Нам было известно, что в конце июля нас отправят. Все готовились: припасались продуктами, посудой, чайниками. Были среди нас и больные, которые вынуждены были остаться в Вышнем Волчке, а двое моих товарищей по Питеру здесь даже умерли, проклятая тюрьма их доканала.

Настал день отправки. Жены наши подъехали к воротам тюрьмы (жили они на частных квартирах); вывели и нас всех. Усадили на извозчиков и двинулись. На станции собралось вышневолоцкое мещанство посмотреть на царских преступников. Никто из нас не был закован и все имели свое платье — арестантской одежды никто не взял. Свободно уселись в вагонах; конвоирами были жандармы; обращение было очень вежливое; багажа

нам разрешили брать на каждого человека 5 пудов продуктами. Всеми хозяйственными делами заведывал староста. Его обязанностью было: раздать продукты, во время послать за кипятком и т. д.

Так мы доехали до Москвы. Тут к нам присоединились из московской тюрьмы женщины, а из мценской—мужчины; собралось нас около 80 человек. Детей, кажется, ни у кого не было, кроме Белецкого и Графинского (варшавяне). Когда посадка закончилась, к нам в вагоны вошли московские жандармы во главе с ротмистром. Приняв партии и расставив конвоиров, ротмистр просил всех быть спокойными, не волноваться.

Было летнее раннее утро. Через час наш поезд отправился на Нижний-Новгород. На станции Орехово-Зуев я увидел знакомых—сестру тов. Гвоздарева и ее сына, им я сообщил, что высылаюсь в Сибирь. От них же узнал, что Дмитрий Гвоздарев умер в Твери. Проводили они меня с добрыми пожеланиями.

В Нижнем-Новгороде наши вагоны подвезли к Сибирской пристани, где уже стояли баржи, приготовленные для посадки. Нас стали выводить из вагонов: по обоим сторонам стояли солдаты, жандармы сопровождали. Мы, политические, поместились в одной половине баржи, другую половину отгородили железной решеткой,—ее заняли уголовные. Куб для кипяченой воды и котлы для варки пищи были отдельные, с уголовными разъединял нас проход, так что мы не могли с ними переговариваться; у нас были жандармы, а у них конвойная команда. Старостой был у нас т. Абрамович, поваром—Ахаткин. Помощниками были все, по очереди; дамы наши помогали мыть посуду, следить за чистотой,—устраивались, как лучше, потому что нам приходилось плыть дней пять до Перми из Нижнего.

Наша баржа отчалила. Ночью мы все спали в растяжку, не стесняясь друг друга, как это было в вагоне. Проснулись, когда баржа была уже за Макарьем; пока умывались, прихорашивались, на палубе натянули брезент. Солнце уже было высоко. Началось чаепитие; кто-то запел: «Волга, Волга, весной многоводной ты не так заливаешь поля...» Подхватили другие и понеслись по Волге чудные, чарующие звуки...

Самым лучшим певцом был у нас тов. Папин, прибывший из харьковской центральной каторжной тюрьмы (отбывал каторгу по делу долгушенцев). Голос у него был—ну, что-то особенный, такого теперь едва ли услышишь. Хор организовался великолепный, обстановка была на редкость соответствующая: раздолье Волги, ее берега—все звало к поэзии. Все высыпали на палубу вплоть до ротмистра и инспектора сибирских этапов, послушать—стояли, как зачарованные. Не чувствовалось, что мы в арестанской барже, а казалось, где-то далеко, «там за далью непогоды есть блаженная страна». У всех было приподнятое настроение: загорелось желание жить и умереть за други своя. Не даром у Некрасова есть в поэме «Пир на весь мир» слова Гриши: «от хорошей песни дух поднимается».—Да, действительно, у всех приподнят дух;—мы радовались вольному раздолью великой русской реки. Погода стояла прекрасная; грудь расширялась от вольного воздуха. Только ночь нас загоняла на нары в наши отделения. Другая половина—уголовные состязались с нами и пели свои излюбленные песни:—«Шумела буря, гром гремел». В дороге никаких инцидентов не было; жандармы были очень предупредительны. Казань мы проехали рано утром, когда все спали. Высыпали все на палубу при слиянии Камы с Волгой. Многоводная Кама соперничала с Волгой красотой своих берегов.

Мы, рабочие—Лука, Коняев, Смирнов, Баранов и я много читали, учились, как только могли.

До Перми мы доехали все в веселом и бодром настроении; больных не было. Подплывая к Перми, жандармы попросили нас собрать свои вещи и быть готовым к высадке. Вся наша компания не знала, куда нас поведут, в тюрьму или прямо на поезд, много было разных предположений. На пристани же узнали, что нас посадят прямо в поезд, а уголовную партию поведут в пересыльный пункт. Церемония нашей пересадки была та же, что и в Нижнем: губернское начальство, штапалерами солдаты, публику близко не подпускали. Мы все шли без вещей, их вручили каждому из нас в вагоне жандармы. Мы были на привилегированном положении, ни у кого ничего не пропало, все было в целости. Жандармы с нами близко ознакомились; каждому

из них было поручено обслуживать тех, к кому они представлены. Табак, папиросы покупались свободно, а также и свечи.

Поезд тронулся на Екатеринбург. Проехали Мотовилиху, этот гигант-завод, в котором, как говорили, самый большой паровой молот. Местность поднималась все выше и выше, громадные выемки, проход по краям ущелий—все это нас интересовало; никогда я себе не представлял, что есть на свете такие чудные гордые вершины, а в плоскогорьях раскинуты громадные заводы. Наш поезд громыхал и лез все выше и выше. Мы медленно подвигались вперед. Только ночь заставляла оторваться от окна вагона. Наконец, прибыли в Екатеринбург. Опять увязка вещей, опять суматоха, смех, возня. Вывели нас из вагонов, выстроили и довели в Екатеринбургскую тюрьму. Шли мы под конвоем своих жандармов, шли вольно, не спеша, всматриваясь в постройки зданий. Прошли мимо монетного двора—все для нас было ново. Публики было очень мало; встречные местные жители с удивлением смотрели на наше шествие в пестрых одеяниях—кто в пальто, а кто и в арестантском халате, да еще с жандармами. Ничего подобного они не видали: видели они сотни тысячи раз громадные партии в кандалах, наручниках, а тут, на, поди, идут вольно, без кандалов и наручников. С изумлением смотрели на нас; попадались поляки ссыльные, те уже отчасти понимали, в чем дело, некоторые из варшавян были в конфедератках.

В тюрьме началось размещение, женщин поместили с семейными, а остальных по отдельным камерам, но не на задоре. На третий день с утра попросили собираться в дорогу, объявив, что мы поедем в фургонах по четыре человека в каждом. Непривилегированные должны будут ехать в наручниках, т. е. в оковах. Тут все, конечно, запротестовали, и ротмистр вынужден был отменить приказ. В фургоны было запряжено по три лошади; езда быстрая, бешеная; в полдень остановка в степи для передышки и закуски. На степной джур были выпущены местные крестьянки со своими товарами: тут были шаньги, калачики, булки, жареные куры, поросята, жареная свинина и т. п.—бери, ешь—чего хочешь и все это баснословно дешево по сравнению с го-

родскими ценами; мы просто поражались такому обилию. Инспектором сибирских этапов все было предусмотрено и заранее оговорено, что в такие-то дни проедет партия и чтобы готовили кто что может для продажи.

На третий день мы уже были в Тюмени, переехали границу, отделяющую Европу от Азии. У пограничного столба сделали привал; многие из нас сделали надписи на столбе и распростились с Европой, вступивши в сибирские пределы.

В Тюмени должны были остаться некоторые товарищи, назначенные в западную Сибирь. По списку их вызывали и повели в тюрьму, а остальных оставили на подводах. Сидевший в тюменской тюрьме Долгополов, встав на окно тюремной камеры, долго переговаривался с товарищами, идущими в Восточную Сибирь. По окончании сдачи части товарищей, нас повезли на пристань. Там уже стояла баржа, на которую нас перевели. Мы разместились по установленному порядку. Путешествовать на барже по Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи предполагалось дней 7—8, а то и более. Пришлось подумать о запасе провизии и хлеба. Устроили совещание, на котором решили запастись всем необходимым в Тюмени, о чем наш староста и заявил инспектору и ротмистру. Отрядили жандармов и старосту с помощником за продуктами, остальные принялись готовить обед и чай. На барже были котлы и куб для кипятку; матросы принесли дров и затопили. К приходу старосты у нас уже был готов кипяток; все расселись пить чай и закусывать, разминая свои члены от езды в фургонах; некоторых, в особенности, наших дам, так трясло, что еле ходили. На барже мы почувствовали себя свободней и расположились, кто как желал. Староста наш привез провизию: ситный хлеб, мясо и т. п.

Когда все было готово,—подшел небольшой буксирный пароход, зачалил баржу и в ночь мы отвалили от пристани.

Тура нам показалась маленькой извилистой речкой; берега ее покрыты лесами, вокруг ничего не видно.

Тобол река большая. Мы вышли на простор; здесь уже показались кое-где рыбачьи лодки и береговые селения, хотя очень редко. В тобольск причалили днем. Вид последнего,

как сибирского города, всех нас интересовали; мы долго разглядывали его местности, в особенности нас интересовала тобольская каторжная тюрьма. («Мертвый Дом» Достоевского).

На Иртыше у остратов варили стерляжью уху, любовались сибирской природой, подвигаясь все дальше на север. Теперь нет возможности воспроизвести все те события, которые тогда запечатлелись в мозгу. Все мы были настроены жизнерадостно; незаметно было уныние или хандра, как будто мы шли не в ссылку, а на прогулку, если что напоминало нам о ссылке—так это решетки на барже и конвой с жандармами.

Войдя в могучие воды реки Оби, мы видели только островки, да кое-где остратские постройки на сваях и обилие всякой водяной дичи. Стругут—это просто деревушка, да пристань для погрузки дров; Нарым—тоже не лучше. В Нарыме к нам посадили товарища Тихонова с женой и ребенком (по делу Александрова. Он из Нарыма высылался в Восточную Сибирь за неподчинение распоряжениям властей).

Наконец-то мы на 8-е сутки причалили к томской пристани. Ждали на барже отправки на пересыльный пункт. Громадный двор, обнесенный палями, вмещает большие деревянные бараки, загромажденные нарами. Надо сказать правду,—к нашему приезду все было вымыто, вычищено, насколько это было возможно, и предусмотрено. В Томске было получено сообщение о возвращении в Вятскую губ. в город Шадринск В. Г. Короленко. В Томске нам пришлось сидеть с неделю; для нашей партии сгонялись подводы из окрестных селений. Все было готово к отправке. Нас рассадили на телегах по два человека; поезд наш растянулся чуть ли не на полверсты; ехать нам было вольготно. Московские жандармы сопровождали нас до Красноярска. Ехали не спеша, с прохладцей, потому что маршрут был назначен по одному станку в день, два дня ехали, третий—дневка, торопиться было некуда. Проехавши верст десять, мы слезли и отправились пешком с пением «идет он усталый, цепями звенит...» и др. Проходим версты три—четыре, и снова садимся на подводы. На этапах торопились закупить себе всякой всячины и напиться чаю. Этапные помеще-

ния не запирались до поздней ночи; мы могли свободно гулять по двору; часовые, расставленные вдоль палей и ворот, не вмешивались во внутреннюю жизнь этапов, здесь следили жандармы. На каждом этапе располагались по отделениям: дамы и семейные в одном отделении, а остальные в другом. У нас были свои доктора, если кто-либо заболел,—обращаемся к ним—они шли в этапную аптечку, приготавливали лекарство, и угощали своих пациентов латинской кухней.

От Томска до Красноярска путь не малый; шли долго. Время подходило к осени; кое-кто из наших заболел серьезно; их пришлось отправить в Красноярск с нарочным.

Помню, как по инициативе Белоконого был устроен литературный вечер с живыми картинами и чтением стихов на злобу дня. Бедняков (по делу Веймера) читал лекции по мыловарению; другие—по экономике, географии, физике; я декламировал из хроники «Стенька Разин». Так жизнь шла своим чередом; жили очень дружно. Невольно напрашивался вопрос: за что же нас ссылают? За то только, что мы хотим любить друг друга, хотим жить братской жизнью,—другого ответа не находил. Так хорошо же, будь по-вашему: на слово словом, на силу силой только можно отвечать, а нам ее (силу то) не занимать—с избытком есть. Такие-то мысли постоянно на каждом шагу проникали в наше сознание.

В Красноярске привели в тюрьму. Началась приемка, продолжавшаяся очень долго. Мы с дороги голодные нервничали, требовали, чтобы нам дали кипяток и позволили сходить за продуктами, но тюремное начальство не обращало никакого внимания, как будто это не к ним обращаются. Семейных и женщин загнали в одну камеру и заперли на замок. Мы стали стучать в дверь, требуя, чтобы нам отворили. Вдруг меня вызывают—больной товарищ просит меня пойти к нему. Я, ничего не подозревая, отправляюсь, но вместо товарища... меня посадили в карцер. Дамы наши ждут не дождутся моего прихода; подняли шум и гам, и меня должны были выпустить, с предупреждением не устраивать скандала, так как здесь тюрьма.

К вечеру нас разместили и мы немного успокоились. Прежде всего надо было уладить с обедом. Поручили ста-

росте выяснить это с тюремной администрацией. Выяснилось, что на кухне готовить не разрешается, да и невозможно, так как нет отдельных котлов и плиты. Предложили нам следующее: тюремный повар будет для нас готовить обед из двух блюд за плату, уговорившись предварительно с поваром. За каждый обед повар согласился брать 15 коп. Составили список желающих. Сначала записалось много, но когда принесли обед, большинство отказалось: обед сам по себе очень приличный и сытный, но в супе или щах плавали тараканы, в жареном мясе тоже, — брезгливые никак не могли этого переносить. Призывали смотрителя и доктора, но ответ один: ничего не могут поделать, тюрьма переполнена и т. д. Пришлось довольствоваться тем, что есть.

Через недели три или более нас распределили по округам: Абраменкова, Коняева и меня назначили в Канский округ в село Янцырь; Смирнова — в Тасеево, лишенных прав — в Иркутскую губ., а большинство народу было отправлено в Енисейскую.

Еще в Красноярске нас догнала партия киевлян: Попов (Родионович), Иванов (ему была заменена казнь каторгой), Юрковский Сашка, инженер Диковский, — и опять составился у нас богатый хор. Помню, как-то раз собрались вечером и запели «Через реченьку». Что это было за чудо! Мы все дрожали, а наши дамы: — Калинкина, Малиновская, Клейн не могли устоять, пришлось их увести. Такого пения я больше нигде не слышал, да и не услышу. Басы, тенора — все как будто не от мира сего, в особенности, был прекрасен тенор Панина.

Перед отправкой заявили о выдаче нам казенных вещей, как летних, так и зимних; поделили кассу: остающимся в Енисейской губернии пришлось по 15 руб., а идущим в Иркутск — по 30 руб. До Енисея ехали на извозчиках; через Енисей на лодках. В условленном месте нас ждали подводы, сани и кошевки. Жандармы и конвойные (здесь уже красноярские, — московские остались) перенесли наши вещи, уложили их, и мы тронулись в путь.

На одном из этапов нам сказали, что с этого места бежали Дейч с товарищем.

Юрковский попросил у меня мою шапку, а мне дал

папаху, рассчитывая бежать с дороги, что ему не удалось. В г. Канске нас четверых оставили в полицейском правлении, остальных отправили дальше. Здесь мы расстались с друзьями, не рассчитывая увидеться до тех пор, пока не будет свергнуто самодержавие. О классовой борьбе тогда никто не задумывался: все считали, что достаточно свергнуть самодержавие — остальное пойдет само собою. Разъехались по сибирским селам, каждый думая, что-то будет дальше?

В этом году (1880) зима была ранняя, много хлеба было завалено снегом; в Иркутской же губернии был недород, цены на хлеб были по тогдашнему времени высокие (пуд размолу пшеничного стоил один рубль, это казалось слишком дорого). Пособие от казны получали только те, кто был признан неспособным к физическому труду, так что мне в пособии было отказано.

В селе Янцыре был один сосланный по политическому делу, наборщик из Одессы, арестованный по ошибке: искали Николая Островского, а взяли Владимира, и сослали человека, не знавшего ничего и не принимавшего никакого участия в политике, — просто для счета. До приискания квартиры, мне отвели временную квартиру; пришлось переночевать у зажиточного сибиряка. На утро пошел разыскивать товарища. Прежде всего бросилось мне в глаза большое количество кабаков, — село небольшое, а кабаков много. Зашел в один — спрашиваю, где живет такой-то, мне указали. Разыскал, — оказалось, что он ни рыба, ни мясо, ничего дельного не сказал. В другом кабаке мне указали за рекой Янцырем дом. Пошел туда, посмотрел — отдельная небольшая сибирская изба в два — три окна, обстановка — скамейка и стол. — Ну, думаю, на первое время и это хорошо, а там видно будет. Договорился платить полтора рубля в месяц со своей топкой. Первые три дня топка хозяйская. Мне уже растолковали, что дрова может всякий нарубить для себя, где ему вздумается. Поселился. Первая забота — нарубить дров и перевезти. Нарубил я дров, на завтра на хозяйской лошади привез. Хозяин-сибиряк все присматривается, — как я запрягаю, как заважживаю и т. п., все подмечал, потом и говорит: «как-же это так, царский преступник, а работает, как и мы, по-простецки, по-мужицки». Объясняю, что я

такой же мужик, как и они, да вот за то, что хлопотали за таких-же мужиков, как мы с ним, за то, что подавал прошение царю и указывал, как чиновники, станковые заседатели обирают мужика, как мужику трудно жить и т. д.,—меня и сослали в Сибирь и сделали царским преступником. Сибиряк привык видеть в лице царских преступников интеллигенцию, мужика же он видел или уголовного, или бунтовщика, дальше этого он никак не мог сообразить.

Через неделю (это было в ноябре), я нанялся в батраки к бывшему бродяге, а теперь осевшему на месте, как поселенец. Он имел порядочное хозяйство. У него были два сына—подростка лет 14—15-ти; сам он—еще крепкий старик. Жалование положил он мне 5 руб. да харчи. Рабочее время:—в полночь встанешь—до свету обмолотишь овин хлеба и идешь завтракать; после завтрака запрягаешь пять—шесть лошадей, едешь в поле за хлебом, верст 15—20 от села. Пока накладешь 6 возов снопов, свяжешь,—домой придешь уже к вечеру,—хозяин уже хлеб провеял. Насыпишь в мешки и везешь в амбар, потом лошадей отпрягаешь, дашь корму—уже ночь; поужинаешь,—смотришь, то сбрую поправить, то еще какую-нибудь работу найдешь, и только тогда ложись спать; и так изо-дня в день до самой весны. Первое время было очень трудно, а потом втянулся и работал, как вол.

В селе я числился хорошим работником, и потому вскоре меня переманил другой хозяин—уже платил 7 рублей. Прожил я в работниках до сенокоса. Во время же сенокоса работал поденно вместе с женой (она тоже косила), получали по 1 руб. 75 коп. в день вдвоем; потом начиналась уборка хлеба, пшеницу жали серпами, здесь уже работали сдельно, с десятины 5—6 руб. деньгами и столько же мукой, так что и деньжат заработали и хлеба. За лето я оправился, и вторая зима уже для меня не была так страшна, хотя и приходилось работать, но не было нужды.

В 1881 году убийство Александра II-го привело к тому, что всех политических ссыльных заставляли присягать (отдельно от общей присяги) Александру III. Со стороны полиции не было ничего такого, чтобы улучшить, или ухудшить

положение ссыльных, исключая тех, кто отказался принять присягу, и их всех сослали в Якутскую область, в том числе и В. Г. Короленко. Среди ссыльных, как политических, так и уголовных, многие ждали манифеста. Манифест, какжется, был, но он не коснулся политических. Лишь в конце 81 года мне объявили, что я имею срок ссылки, который кончится в июне 1883 г., чем я был очень доволен—мы шли в ссылку без срока.

В 1882 году ко мне в Янцерь прибыли двое товарищей: Апельберг Орест Эрнестович и Коренев. Апельберг поселился со мною, Коренев в отдельной квартире. Жизнь пошла веселее, к тому же мне стали выдавать пособие. Случилось это так: приезжает исправник в волость,—спрашивает, где у вас такой-то. Бросились искать—нет; жена сказала, что на работе на такой-то заимке, тогда за мной послали нарочного. Являюсь к исправнику. Тот объявил мне, что моя переписка задержана цензурой, и что все письма должны отправляться через волостное правление в полицию. Спросил также, на каком основании я отлучаюсь из села. Объясняю ему, что служу батраком у крестьянина и получаю 20—25 коп. в день и, так как не хватает на жизнь, волей-неволей приходится бежать, а пособия не получаю, так как признан здоровым. Исправник нашел выход, посоветовав мне подать ему заявление с просьбой пересвидетельствоваться. Всю эту процедуру проделал, и стал получать пособие в размере 6 руб. на человека, т.-е. с женой 12 руб. Купил себе ружьишко и лодку, и стал заниматься охотой; обзавелся также поросенком и зажил хорошо. Вдобавок еще у Апельберга день ото дня увеличивалось количество пациентов, которые приносили ему поросят, муки.

Но не долго так жил. Апельберга вскоре перевели в Канск на должность окружного фельдшера, а на меня поступил донос, что я пою революционные песни. Из Красноярска приехал жандармский ротмистр с товарищем прокурора; произвели обыск, сделали дознание, составили протокол. При обыске ничего не нашли; на допросе никто не подтвердил, что я пел марсельезу, тем дело и кончилось.

Так я и прожил в Сибири до 1883 года. Кончился

срок; нам выдали на обратный путь прогонные. Я, моя жена и Лука Абраменков стали собираться в обратный путь. Незадолго до нашего отъезда в Янцыр был переведен технолог Лаговский с женой из Тасеева. Все свое барахло и корову оставили на его попечение. Волостной писарь дал свой тарантас и лошадей для Лаговского проводить нас до города Канска, а мы наняли лошадь у местного крестьянина. В Канске нас проводить собралось несколько человек: Апельберг, два учителя, Лаговский, два-три человека из местных жителей и учитель из Янцыря. На прощанье я поделился с товарищами о своих намерениях поступить на фабрику Саввы Морозова в Орехове.

Морозовская стачка, арест, суд и ссылка *).

Еще живя с ссылке, в Сибири, я уже решил, что могу сделать для общего дела. Я уже не стремился в большие города, а шел туда, «где трудно дышится, где горе слышится»...

Мы были свободны. Получили подорожную, распростились с ссылкой. Перед нами была задача — скорей возвратиться. Ехали мы втроем: я, жена и Лука Абраменков **).

Наконец, через несколько дней мы — в Москве.

Луку Абраменкова я взял в Орехово-Зуево, потому что в Зуеве, на фабрике Зимина, жил мой отец и через него я мог узнать, принимают ли ткачей. Поступать с проходным свидетельством нельзя было. Приходилось ехать на родину, взять паспорт и потом думать о поступлении на фабрику. Жену я оставил у отца, а сам поехал на родину. В волости мне предложили поехать в город к исправнику за разрешением выдать документ. Исправник дал разрешение. Пи-

*) О «Морозовской» стачке см.: 1) Морозовская стачка 7—13 (19—25) января 1885 года. Под редакцией и с предисловием Д. Б. Рязанова. Изд. «Московский Рабочий», 1923 г.; 2) Статья Р. Кантора «Морозовская стачка 1885 г.», во второй книге «Архив Истории Труда в России». Петроград, 1921 г., стр. 44—53; 3) Статья С. Валка в книге «Сборник статей и материалов» редакции журнала «Архивное дело»; 4) статья о Морозовской стачке и краткая автобиография Моисеенко в книге Н. Батурина «Очерки из истории рабочего движения 70-х и 80-х годов». Библиотека обществоведения. «Путь Просвещения» при Наркомпросе УССР. Харьков, 1923 г.; 5) Заметка в книге «Календарь Русской Революции» под редакцией В. Л. Бурцева. Изд. «Шиповник», 1917 г.; 6) Воспоминания П. А. Моисеенко «Революционное движение в 1875—1886 годах среди рабочих Петербурга и Орехово-Зуева (морозовская стачка)» в журнале Комиссии по изучению истории Окт. рев. и Комм. партии (б-ков) Украины «Летопись революции» № 5. Гос. Изд. Украины, 1923 г., стр. 112—125.

**) Был сослан вместе с П. А. Моисеенко в Канский округ, Енисейской губ., за участие в стачках на Ново-Бумагопрядильне и примкнувшей к ней фабрике Шал (в 1879 г.).

сарю я заявил, чтобы в паспорте он написал фамилию, так как это всюду требуют. Он просмотрел книги, но фамилии моей там не оказалось. Тогда я сказал, что уличная кличка нашего рода Мосеенки, и поэтому я значусь Мосеенок, писарь же по недоразумению или по неопытности написал в паспорте Моисеенко *). Я обрадовался и молча взял паспорт, думая про себя: теперь меня уже не найдут ни в каких списках, все прошлое отошло, смело можно приниматься за дело. Ни соседи, ни родственники об этом не знали, и я спокойно отправился в Орехово.

В Орехово-Зуеве я поступил к Морозову на фабрику в качестве ткача, зная, что если полиция или жандармы будут искать, то Анисимова больше не найдут. Так оно и вышло. На родине наводили справку, куда я уехал, сказали—поехал в Москву, а там кто его знает, где он.

На фабрике Морозова царил произвол, какого нигде никогда не было. Мне дали пару двух-аршинных станков, основа была миткаль; жену поставили на аршинные станки—старые, разбитые, требовалось много знания и ловкости, чтобы их наладить; пришлось напрячь всю энергию и показать работу. Подмастерье, который обязан налаживать станки, относился небрежно к своим обязанностям, и видя, что новый ткач понимает дело, охотно давал гаечные ключи и—налаживай сам, как тебе надо, лишь бы не сделал поломки. Трудно было привыкнуть к фабричной атмосфере после привольной Сибири.

Благодаря умению, работа пошла быстро и чисто. Работали сдельно, с куска. Первые куски, мною сработанные, были сданы в приемную контору и записаны в книжку. На второй день меня вызывают в контору, где особо приставленные браковщики просматривают сданный товар, и если находят какую-либо порчу, близну, недосеку, подплетину, или кромка нехороша, или товар не чист,—вызывают ткача или ткачиху, указывают порчу и вписывают в книжку штраф. Так заведено на всех ткацких фабриках. Иду в браковскую. Ткачи и ткачихи стоят в затылок с книжками. Браковщик вызывает по номерам станков. Подходят. Бра-

*) Во всех списках и документах т. Моисеенко числился как Анисимов.

ковщик берет книжки, порчу не указывает, а штраф вписывает. За что—неизвестно. Ткачи и ткачихи вступают в пререкания, а все же книжки дают. Видя, что им записывают в книжку, некоторые тут же плачут. Ну, думаю, порядки (хотя об этих порядках я уже знал).

Доходит очередь до меня.

«Ваши книжки».

— Для чего?—

«Записать штраф, кромка нехороша». — Покажите товар. — «Товара нет». — Товара ней—и книжек нет, потому что кромка хороша и подписана мастером Шориным.—

«Мы ничего не знаем, подписана или нет, а штраф должен быть за порчу». — Да, но за хороший товар вы должны записать премию, согласно вывешенным правилам, а поэтому я книжку не дам и штрафа не признаю. До свидания.

Ухожу. Свидетели этой сцены смотрят с удивлением: ничего подобного они никогда не видели и никогда не мыслили себе, что можно не дать книжки и так разговаривать с браковщиками. Некоторые из ткачей, видевшие всю эту сцену, пришли ко мне и, увидя мою работу, удивились: так хорошо она получилась. Ткачи начинали рассказывать о своем горьком положении, что Морозов задушил штрафами: моченьки нет, деться некуда с семьей.

Такие разговоры происходили ежедневно и повсюду, где только сходились рабочие. Бабы отводили душу в слезах, мужчины—в ругани и проклятиях. Видя все это и переживая сам, заражался все большей и большей ненавистью к вампиру—Морозову.

Немедля записался в библиотеку, стал брать книги и на досуге в своей казарме читал вслух приходившим ко мне товарищам. Постепенно я начал вести агитацию, что так жить нельзя, надо изыскивать средства, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить свое положение. Приходилось иногда читать в библиотеке газеты. Так, помню, как-то раз зайдя в библиотеку, увидел много народу. Чего-то ожидали. Спросил: чего ждете? — «А вот ждем такого-то, который читает нам газету, а его нет, читать некому, а интересная штука про Чуркина». — Что же, давай я прочту. — Все согла-

сились, и я начал читать глупейший роман об атамане Чуркине и его похождениях. Только я начал,—все насторожились и стали с вниманием прислушиваться к чтению. Мне пришлось прибегнуть к междустрочному чтению, например: почему Чуркин не вытерпел морозовской «ласки»? Ведь он был таким же фабричным, как и мы, и ему так же «хорошо» жилось у Морозова, как и нам, а вот поди ж ты: захотел быть разбойником-грабителем. Послышалось несколько голосов, что он бедных не грабил, а только богатых. Читаю дальше. У слушателей дух захватывает. Ну, вот Чуркин—атаман из простого рода, а почему-то не хочет добывать воли для черного народа, а лишь заботится о себе и о своей шайке. Мы шею гнем свою и ничего не хотим делать, а все думаем авось, да небось. Чуркин организовал свою шайку и живет свободно, а мы не умеем организовать хотя бы маленький кружок для защиты себя, а ведь надо бы, давно надо...

Когда я кончил читать, библиотекарь пристально посмотрел на меня, но ничего не сказал. Когда расходились, я услышал разговор: «А хорошо нам что-либо сделать, да вот не знаешь, как приняться». Другой говорит: «Надо бунт устроить, а без этого ничего не будет».—«Бунт—ты думаешь, а разве не знаешь, что у Морозова фабрика заколдована от всяких бунтов? Морозов—колдун, а то давно бы уже был бунт».

На меня этот разговор произвел сильное впечатление: заставил задуматься, что с такой невежественной суеверной массой трудно что-либо сделать, кроме бесшабашного бунта, что тут пригоден и Чуркин, и всякий, кто только немного проявляет в себе склонность что-либо сделать.

Работа моя, как ткача, была безукоризненна, и я все время боролся с браковщиками: не давал им писать штрафы, чем возбуждал ненависть их и симпатию ткачей. Они воочию увидели, что только борьбой и протестами можно кое-что сделать.

Ткачихи стали ко мне обращаться с просьбой посмотреть их станки, почему у них работа не ладится. Я налаживал все, что можно делал, и этим заслужил почет и уважение ткачих своего этажа.

Пропаганда моя подвигалась медленно, но слушателей моих разговоров и чтений все прибавлялось. Мало-помалу лед, сковывавший сознание, стал ломаться. Требовалась выдержка и беззаветная вера, вера в святое дело. Поддержать меня было некому среди этого мрака. Приходилось обдумывать каждый шаг. На политическую тему не с кем было говорить, не говоря уже о революционных песнях. Даже из Некрасова что-либо—и то приходилось декламировать, а не петь. Только и отводили душу, когда заходили в лес.

Так я и проработал у Морозова до Пасхи 1884 года. С Пасхи перешел на другую фабрику—Смирнова в Ликине, где заработок был больше. Сделать это пришлось под давлением семейных обстоятельств и кой-каких конспиративных соображений.

Помню, как-то раз меня пригласил мой земляк быть у него кумом и окрестить ребенка. Я согласился. Окрестив ребенка, ореховский поп спрашивает: «а где отец этого ребенка?».

Я говорю—«здесь».

«Позови его ко мне».

Я позвал. И начал поп пилить моего кума, что он нехрист, еретик и т. д.

Я спрашиваю: «В чем дело, отец духовный?».

«А дело в том, что ребенок зачат в великую семидесятницу—за это не будет прощения на том свете».

Я не вытерпел и сказал: «А вы-то, батюшка, верите в тот свет? Я думаю, что нет, ибо философы не доказали—есть ли тот свет». Поп мой растерялся: «Как так, как ты смеешь говорить такие вещи. Я донесу в контору, этого нельзя допустить...». И пошел. Я и кум поспешили уйти, а то и в самом деле пойдет в контору. Не знаю, ходил ли поп в контору или нет, только мы между собой вдоволь посмеялись над бешенством попа. В то время приходилось всякую мелочь подмечать за собой и остерегаться. Малейшая ошибка—и все пропало.

Из Ликина к Морозову на фабрику ходил почти каждую неделю и справлялся обо всем, что делается. В Ликине мне не долго пришлось поработать, из-за семейных неурядиц я перекочевал в Богородск на фабрику Ивана Мо-

розова «Глуховская мануфактура», а на рабочем жаргоне «жеребчиха». Фабричных квартир не было. Жил в селе Ключеве, от «жеребчихи» версты две. Проработав месяц—другой, я надумал окончательно перейти к Саввушке Морозову и во что бы то ни стало устроить забастовку.

К этому времени приехал мой товарищ Лука Абраменков—его я устроил у Смирнова на фабрике, а сам перешел к Савве Морозову. Здесь уж я не гнался за заработком, а стал исключительно агитировать. Что бы мне ни говорили, я стоял на своем. Будь что будет, а дальше откладывать нельзя.

В библиотеке я взял журнал № 5 «Вестник Европы» 1871 г., где помещена драматическая хроника «Стенька Разин», и стал ее читать по казармам. Слушателей собралось столько, сколько было в казарме жителей, тут были и дети, и старики. Это чтение произвело громадное впечатление на весь рабочий народ. Они иначе не мыслили, как то, что Разин разбойник и предан анафеме... А тут совсем другое. Разин не разбойник, а защитник крестьянского и рабочего люда, и шел он против московских бояр, которые притесняют крестьянский народ, а также и против попов долгогривых, которые морочат православных и заодно с боярами да приказными помогают душисть народ и т. д. Такие рассуждения можно было слушать всюду, где только собиралось трое—четверо. Весть об этом чтении проникала и на соседние фабрики. Приходили посланцы и просили прочесть и у них, что и приходилось делать. Об этом чтении донесли в контору. Там поручили дворовому приказчику разузнавать. Приказчик ходил, собирал сведения; что он вынес из этого—неизвестно. Мне предложили перейти в продовольственный магазин и стать торговцем. Я отказался. Видимо, это пока пробовали «домашним способом», не доводя ни до полиции, ни до жандармов.

На фабрике Морозова проживал полицейский пристав, жандармов на станции ж. д. совершенно не было видно. Я успокоился. Забастовка все назревала, так или иначе она должна быть. Чтобы отчасти охранить себя, я пошел к мастеру Шорину и заявил ему, что работать нельзя, так как на меня косо смотрит дворовая администрация за то, что я

читаю книги, которые беру из библиотеки, а поэтому дайте мне расчет. Шорин говорит: «плюнь на них—для того и устроена библиотека, чтобы брали книги и читали. Иди, работай и будь спокоен, ничего не будет». Хорошо, думаю себе,—ничего ты не чувствуешь, что происходит. Я же предвидел, что будет со мною и, что в случае расправы, Шорин будет свидетелем. Так оно и вышло.

Подходили рождественские праздники, ждали полочки: каждый рассчитывал, что он получит, и что можно купить, и т. д. Все знали, что получать почти нечего; торопились запасться ордером в хозяйский магазин, взять, что можно. Не мало было и слез бедных ткачих, у которых нехатало заработка на харчи и они оставались в долгу у конторы. Контора давала ордер срезанный, праздник справить не на что. Наступила полочка, а получать нечего, то за харчи, то за штрафы. Заработок 8—9—12 руб. не более, вычет штрафа 3—4 руб., а то и более, вот тут и живи, как знаешь. Мужчины зарабатывали 12—15—17 руб., штрафов в среднем на каждого приходилось не менее 3 р. 50 коп., да харчи, и приходилось получать 2—3 руб.

Наступили праздники. Люди ходили унылые, недовольные, проклиная жизнь, и себя, и всех. Вот тут-то и приходилось подливать масла в огонь.

Тут я впервые столкнулся с товарищем Волковым, который оказался смелым и толковым. Он недавно поступил к Морозову, а раньше работал в Серпухове. Я вплотную взялся за него, и в два—три дня Волков мой был готов на все, и в огонь, и в воду. Я несказанно был рад, что приобрел себе такого товарища. Он был молод и красив собою, чем много выигрывал среди ткачих.

Наша агитация приняла широкие размеры; нужно было выбрать время, когда начать. Время это указала нам сама контора.

Когда стало известно, что седьмого января (по старому стилю) у Морозова фабрика будет работать, тогда как на других, соседних, фабриках этот день считался праздником, этого для нас было достаточно, и мы решили использовать этот случай. Повели агитацию среди более подготовленных товарищей-ткачей, что нам нужно собраться и потолковать

о деле, которое необходимо тщательно обсудить, чтобы не вышло розни и т. д., где собираться и когда. Судили, рядили и, наконец, решили собраться на Песках, в трактире. Там редко бывали посторонние, посетителями трактира всегда были лишь рабочие. Собрание назначили после шабаша в сочельник под Крещение, как только вычистим станки, прямо с фабрики итти на Пески; каждый должен взять с собой несколько копеек, закажем чаю и будем обсуждать вопросы. С нетерпением я ждал этого дня; все время ходил и уговаривал товарищей, чтоб не только сами пришли, но и других привели.

Настал сочельник, 5 января. Работа на ум не шла, только из опасения, как бы не заметил мастер, что станки стоят, не работают,—пришлось торчать у станков, а если уходил, то просил соседей или жену, которая работала вблизи, вертеть станки, лишь бы не стояли. Наконец-то дождался,—машина остановилась, все принялись за чистку станков: обметали, вытирали, и через полчаса все было готово.

Мастера обошли, осмотрели. Ткачи начали выходить; вышли и мы с Волковым и стали дожидаться других. Когда набралось несколько человек, пошли на Пески.

В трактире уже сидело человек десять, и мы все уселись за средним столом, заказали чаю, принесли бубликов. Товарищи все подходили, и нас набралось человек 70 *). Чтобы отвлечь внимание трактирщиков, заказали кое-кто водки, и видя, что уже достаточно народу, я начал рисовать все те притеснения, грабежи, которым мы подвергаемся и, не видя выхода из этого положения, говорю, что нам остается одно, как можно теснее и дружнее сплотиться и общими силами повести борьбу против ненасытного вампира, который высосал всю нашу кровь. Для этого у нас одно оружие—стачка. Стачка дружная, общая, солидарная во всех отношениях, чтобы все не только бросило работу, но и другим не давали работать и т. д. Все рабочие—ткачи, прядильщики—не только согласились с этим, но поклялись во что

*) По судебному отчету, помещенному в «Русских Ведомостях», первое собрание было устроено 5 января в трактире Конфеева в с. первое собрание было устроено 5 января в трактире Конфеева в Зуево в количестве 19 человек.

бы то ни стало остановить фабрику и не дать работать другим фабрикам.

Волков рассказал, как они бастовали в Серпухове, как дружно поддерживали друг друга и выиграли дело и теперь там благодать и т. д. Но вот вопрос, как нам сделать, чтобы остановить фабрику, хотя бы одно ткацкое отделение, а там будет видно. Выступил прядильщик и говорит: «самое лучшее пораньше встать, стать у дверей и не пускать»; другой предлагает взять гвоздей и забить двери; третий—лучше войти в фабрику и, собравшись, вызвать весь народ. После долгих прений решили стать у дверей и никого не пускать. Решив этот вопрос, я еще раз напомнил всем, что только дружной, единой, неуклонной волей всех нас мы добьемся победы над нашим кровавым поработителем. С такими пожеланиями мы решили разойтись сегодня, а завтра, часов в двенадцать или к часу, собраться снова: быть может, кто-либо придумает новый способ, как лучше начать.

Мы с Волковым и еще человек десять пошли в Зуево, зашли в погребок, взяли водки и уселись за стол и снова принялись обсуждать: можно ли надеяться на товарищей, не предаст ли кто-либо из них и тем помешает забастовке. Начали перебирать всех товарищей, бывших на Песках, и пришли к заключению, что будто таких нет. Есть трусы, которые не пойдут, но и доносить побоятся. Эти трусы хотя и хорошо знают бабьи сплетни, что Морозов колдун, что бунта у него не будет, что он всех купит, что будто Морозов говорил так: «Покров, уездный город,—моя подметка, я—Владимир ¹⁾, мой карман—воз голов и воз денег, и деньги перетянут; с деньгами что хочу, то и делаю». Но сами-то мужики сомневаются: верят и не верят. Да это пустяки. Вот Шорина,—этого надо выгнать с фабрики, это все он хозяину наговаривает, такого аспида и свет не родит. Дьянов,—тоже; да много их, всех надо выкинуть, чтобы понимали и не обижали рабочих, и т. д. Так мы поговорили и пошли на фабрику, обещаясь завтра собраться.

На утро 6-го пришли ко мне из Ликина Лука и брат

*) Смысл этой фразы, очевидно, сводится к утверждению, что влияние Морозова в губернском центре, Владимире, огромно.

мой, которым я рассказал, что у нас делается, и пригласил Луку на наше собрание. У него оказался нелегальный листок к московским рабочим с призывом организовать. Листок был в единственном экземпляре, да и то уже затасканный. Пришел Волков и мы отправились собирать кого знаем,—а те в свою очередь.

Итак, мы снова собрались и пошли на Пески *). Уселись за чаепитием, подошли еще ребята. Я попросил Луку прочесть нам воззвание к московским рабочим и пояснить сущность воззвания. Лука прочел с пояснением, что не одни мы страдаем, а страдают все рабочие, находящиеся под гнетом капитала, а чтобы избавиться от этого гнета, нам необходимо обратиться за помощью к «Северному рабочему союзу», который объединяет всех рабочих и, в случае нужды, помогает в борьбе за лучшее будущее для всех рабочих. Волков призывал также не унывать, а стоять твердо и т. д. Мне оставалось только резюмировать все сказанное: раз навсегда нужно помнить лозунг: «один за всех и все за одного». Без воли, без свободы, мы равны скотам и даже хуже их, хуже палачей своих. Волю-мать искоренить нельзя: гонимая, забитая, повсюду она в душах таится и дожидается кровавого расчета за былое. Вчера вы мне говорили, что Морозов—колдун и с деньгами все может сделать. Неправда, не верьте этому, все это ложь. На слово—слово, а на силу—сила,—вот только можно отвечать, а ведь нам ее не занимать—с избытком есть. И верьте мне, что топорами скорее можно справиться с врагами, чем бабьей болтовней. Так ли я говорю?—Все закричали: «Так, верно! Нечего баб слушать! Идем все с вами!». Условились встать пораньше, стать у дверей и никого не пускать. Распростились.

И, Волков и Лука отправились ко мне и до поздней ночи беседовали. Лука сомневался, что что-либо выйдет из этого, мотивируя тем, что слишком забитый народ и т. д., я же доказывал, что эта забитость и послужит тому, что мы выгоним их из фабрики, как стадо овец, и они послушно пойдут, а потом может случиться и то, когда они почувствуют волю, то могут из кротких овечек превратиться в

*) Второе собрание происходило (по «Русским Ведомостям») на Песках в трактире Трофимова в количестве 50 человек.

разъяренных зверей. Вспомни хорошенько,—говорю я ему,—какого труда стоило тебе и мне создать первую забастовку на Новой Канаве *),—ведь, тоже все сомневались, а когда создалась и рабочие выиграли,—вторую уже было легче создать; главное не надо забывать, что необходимо убить в народе веру в колдовство Морозова и т. д. Там будь, что будет. Давай-ка лучше споем «Утес». Когда мы пели, Волков наш был на седьмом небе: он никогда не слыхал подобных песен. Волков не знал, что мы были в Сибири: вплоть до нашего ареста, кроме близких, никто не знал этого.

7-го мы рано встали и пошли на фабрику. Было 5 часов утра. Понемногу стекался народ. Подойдя к фабрике, мы увидели, как у дверей стоят сторожа с дубинами, ломami, оглоблями и не дают останавливаться. Проходят придильщики в свой корпус и тоже говорят, что сегодня праздник, а сами идут. Подходит Волков и говорит, что ничего не поделаешь, сторожа разгоняют, и народ проходит в здание. Я пошел к другим дверям. Пока стоял—останавливались, а как только отошел к другим дверям—все расходились.

Пошли мы с Волковым домой, подкрепились немного и отправились на фабрику. Машина была уже пущена, мои станки раскрыты и пущены (это уже жена успела). Волков и я прошли по второму этажу, потом опять в третий, пригласили кое-кого и пошли прямо в уборную. Там уже полно народу; галдят. Мы начали их усовещивать и бранить. В это время заходит младший мастер и говорит, что если не хотите работать, то бросайте; праздник, так пусть будет праздник, а собираться нельзя. Мы попросили его выйти—он ушел. Хотели узнать мнение женщин и спросили их через стенку, как они думают. Оттуда закричали на нас, что мы хуже баб, бараны и т. д.

В это время ко мне подходит подросток и говорит: «Я знаю, как погасить газ зараз». Я говорю, что для этого надо лестницу, а это опасно: станем брать лестницу—тебя заметят, и тогда все пропало. Мальчуган говорит, что лестницы не надо, а их трое, и они, вспрыгнув друг на друга,

*) Речь идет об одной из забастовок на Ново-Бумагопрядильне, имевших место в 1878 и 1879 г.г. в Петербурге.

завернут кран,—вот пусть только передние ряды завернут свои горелки, чтобы не так видно было.

Идея хороша. Бабы завернули горелки первых рядах, подростки живо вскочили один на другого и завернули коренной кран газа. Моментально стало темно. Выпроводив всех из третьего этажа, я бросился во второй, потом в первый этаж. Остановились станки, и народ начал выходить. Сторожа успели закрыть боковые двери, и всем ткачам приходилось выходить через одни двери,—получилась пробка.

Прибежав опять на третий этаж, я увидел, что несколько рожков горели, но никого у станков не было,—одни подмастерья сгрудились в кучу, да народ в проходе, к дверям. У дверей стояли Волков с несколькими ткачами и выпроваживали народ. От них я узнал, что на дворе спокойно, сторожа не нападают.

Тем временем пришли с прядильного корпуса с просьбой притти к ним и остановить работу. Мальчуганы тут как тут, живо побежали вперед, я за ними. Прибежали в чесальную, сняли всех с работы. В прядильной мои мальчуганы предложили завернуть газовый кран. Я отговорил их потому, что прядильщики выходили уже из корпуса.

Выйдя во двор, я увидел толпу, окружавшую пристава. Пристав говорил, что сами себе уменьшили заработок, напрасно бросили работать.

Подойдя к толпе, я громко крикнул: «Что вы разговариваете с морозовским холуем! Он сыт всегда, никогда не ложится с голодным брюхом. Идемте на старый двор, остановим работу там».

Все, как по команде, бросились прочь от пристава и побежали на старый двор. Не доходя до старой ткацкой фабрики, я услышал крик женщины, и когда мы побежали на крик, то нам навстречу шла толпа, человек 15, вооруженная кольями. Мы гикнули на них, они бежать. Несколько человек нас схватились за звено балясника огороженного пруда, выломали себе дилки и погнались за ними. Они уходили на конный двор. Один из них, здоровый детина, пустил в нас оглоблю, которая с визгом пролетела над нашими головами (к нашему счастью она никого не захватила).

Мы погнали их дальше. Прогнав за прессорезную, выбежали во двор, где находились квартиры кучеров, конюхов и сторожей и т. п. Не знаю, как и почему у меня под ногами оказался мерзляк. Я поднял его и запустил в окно,—завенело стекло, огонь потух. Мы пошли в механическую мастерскую, остановили там работу, потом на красильный двор. Там уже находились Волков с товарищами. Работу и тут остановили.

Убедившись, что всюду стало и затихло, я пошел в Зуево. Народу полно всюду. Захожу в погребок — вижу: сидит Волков с товарищами. Сидим, разговариваем о том, как быть в дальнейшем и т. д. Вдруг прибегают с фабрики и говорят, что там грабят харчевой магазин и бьют контору. Что там делается—не приведи бог. Некоторые товарищи говорят: «ну и чорт с ним, он нас грабил, теперь его грабят». — Я обратился к товарищам и говорю: «этого нельзя допустить, мы должны остановить это безобразие, мы не грабители, а честные труженики, а потому идемте скорее и по возможности остановим и успокоим народ». — Все поднялись и побежали к фабрике. Не добегая до главной конторы, мы услышали шум и звон битых стекол. На дворе мы увидели громадную толпу, которая тащила, кто что мог. Ордера, по которым выдавались продукты, разбросаны по двору; из пекарни летит хлеб на улицу; откуда-то появились сани, наваливают, что попадается. Я и Волков закричали, что есть мочи: «Прочь! Что вы делаете? Долой со двора». Но каково же было наше удивление, когда сгруппировавшиеся вокруг нас рабочие указывали, что это не наши, а ореховские босяки. — Их здесь до чорта, все Орехово и Воиново с подводами, а некоторые и наши помогают. Ничего не поделаешь, народ обозлился. — Но все же кое-как удалось уговорить.

Странно, где же администрация? Куда она подевалась? Почему она не защищает морозовского добра? Я спросил рабочих, где Дианов. Мне указали его квартиру. Я пошел на дом. За мной пошли. Подхожу—ворота заперты. Тогда я прыгнул на забор—вижу: на крыльце стоит прислуга Дианова и его детишки. Я спросил, дома ли директор. Мне ответили, что нет, он еще с утра уехал к хозяину. Ну, нет, и дела нет, чорт с ними, если они не берегут

хозяйского добра, так нам-то что? Слез с забора и пошел по улице с народом: где только иду,—там стекол не бьют, а сзади слышно опять: дзынь, дзынь. По Английской улице разгромлены квартиры Шорина и еще каких-то, которых я не знал. Мальчуганы распустили на ухват занавески с окон и носят, как знамя. Волков опять куда-то скрылся. Пришлось одному переходить с соседнего двора на другой. В фабричных корпусах оказалось не выбито ни одно стекло, а также и в зданиях Елисова. Громили лишь морозовские, и то только те, где помещалась администрация. Обойдя кругом, я отправился в Орехово. Там все было спокойно, лишь гостиницы и погребки были закрыты. Нужно было достать писчей бумаги для написания наших требований. При встрече с рабочими, которые расспрашивали, как теперь быть, что будем делать и т. п., приходилось отвечать: Что было—видели, а что будет—увидим.

Мне указали, где Волков. Пошел туда. Там компания ткачей, прядильщиков обсуждала, что теперь будет и советовались насчет того, что Морозов закупит исправника и губернатора,—ему все можно. Надо подумать и послать ходок в Питер к батюшке-царю.—Злость меня взяла, не вытерпел и говорю: «К царю? Да вы знаете ли, что такое царь? Это и есть первый защитник бар да купцов. Слышали вы такую песнь, где поется: «за прошение мужиков его милости плательщик сподобился кандалов?». Не слышали?—так слушайте, что я буду вам говорить. Во-первых, никакой царь вам не поможет. Были случаи, когда питерские рабочие ходили к царю, к наследнику ходили, и вместо того, чтобы помочь рабочим — их всех арестовали и сослали в Сибирь, как бунтовщиков. На фабрики, где народ бастовал, нагнали жандармов и казаков и нагайками заставляли работать. Вот что ваш царь делает. И вы хотите погубить тех ваших ходок, кого вы пошлете? Нет, этого не будет. А вот что будет:—мы напишем министру внутренних дел и в департамент полиции, где укажем, что местные власти продажные, и что их Морозов подкупил, а поэтому народ им не верит и т. д. Согласны вы с этим? Говорите теперь, нечего молчать, надо говорить открыто».

С моим предложением согласились.—«Но кто же будет

писать? Есть у нас такие, кто бы мог написать? Что же вы молчите? Нет, не хорошо. Я напишу и пошлю. Дальше, должен вам сказать, что не сегодня—завтра пришлют сюда казаков, а может быть и войско. К этому мы должны подготовиться. Первое, что надо—сидеть смирно и никуда не выходить, собираться только в квартирах, а главное,—пресекать в корне всякое безобразие: не давать повода к насилию со стороны казаков и жандармов. Нужно оповестить по всем казармам и артелям, чтобы молодежь зря не болталась; если кто не послушается, то всем народом будет наказан. Ну, как вы думаете? Правильно это будет или нет?—Правильно! Хорошо!—«Теперь идемте на фабрику, и каждый из нас должен собрать в своей казарме народ и объяснить все то, что я говорил. Идемте, только толпой не ходите, а идите по-двое, по-трое, вот так. Волков зайдет в артель, я пойду по главной, а все остальные туда, куда надо». Разошлись все по своим местам.

Дойдя до первых зданий морозовских построек, я увидел, что на главной улице стоит и кричит громадная толпа народу. Подхожу, спрашиваю, в чем дело. Мне говорят: «человека убили», и рассказывают, как хотели разгромить магазин общества потребителей—служащих и рабочих. Начали ломать ставни в магазине и разбивать окна, человек полез в окно, оттуда ему дали по башке и вот теперь толпа и кричит.—«А где зашибленный?»—Меня повели к нему. Вижу — человек еще живой, надо его отправить в больницу.—«Берите его осторожно, ну, хорошенько, поднимай». Больной застонал. Положили опять на снег; я подбежал к сторожевой будке, вытащил у сторожа сиденье — рогожу, положил на нее больного, и его понесли в больницу. Там фельдшер отказывается принять, требует расписки. Пришлось прикрикнуть и оставить больного, а самому возвратиться опять к толпе и успокоить: не делать безобразия, разоитесь. Кое-как удалось. Начали расходиться.

День клонился уже к вечеру. Надо было позаботиться об обеде, а то с утра голодный. Я пошел в свою казарму. В коридоре меня уже ждали, и когда я вышел—попросили сказать им, как будет дальше, что нужно делать. Я объяснил, как и что мы можем предпринять, согласно тому, как

мы постановили с Волковым и товарищами. Просил держаться как можно дружнее, следить за всем, чтобы не было изменников, которые могут наделать много пакостей и т. п., потом отправился к Елису на фабрику, узнать, что там поговаривают.

Придя в казарму, где жил молодой Гвоздарев, я был окружен со всех сторон, и на меня посыпались вопросы. Надо было отвечать и разъяснять положение рабочих: сегодня у Саввы Морозова, а завтра может случиться у Елиса Морозова, а поэтому мы, рабочие, должны поддерживать друг друга и объединяться в один общий союз; когда мы объединимся и будем поддерживать друг друга, тогда мы будем сильны и с нами будут считаться, — сказано: «в единении сила». До сих пор с нами не считались потому, что видели в нас разрозненную массу, и делали что хотели и как хотели, вот почему и вылилась забастовка в такие формы. Будь мы объединены, организованы, этого не произошло бы, а для того, чтобы быть организованными, надо учиться не только в школе, но и вне ее, читать полезные книги, а не «Бову Королевича» и «Еруслана Лазаревича», «Жениха в чернилах, да невесту во щах», а брать из библиотеки Некрасова, Пушкина, Белинского, Добролюбова, Писарева и т. п. Тогда вы поймете, что книга книга рознь, и научитесь разбираться, хотя и не во всем, но во многом; узнаете, как люди живут и работают не для себя только, но и для других.

Много пришлось говорить, — засиделись за полночь. Меня проводили до моей казармы. Так прошел первый день.

На утро следующего дня, напившись чаю, я пошел по зданиям. Всюду было тихо и спокойно; нигде никого не было видно — все сидели по домам, администрация вся пряталась, сторожа — и то кое-где.

Гигант-фабрика стояла, как осиротелая; по улицам нигде никого не видно. Пошел к Волкову; у него сидело человек 5 товарищей, с которыми мы пошли в Зуево посмотреть, что делается там. В Зуеве никого не было видно, — на всех отразилась забастовка. Зуевские фабриканты напугались до того, что поспешили вывесить всюду объявление, что штраф прощается и заработок повышается на 10%

на все работы. Я указал товарищам на это и заметил им: — видите, как мы теперь помогли рабочим, даже тем, которые и не думали никогда, чтобы им прибавляли, а если бы и эти забастовали, тогда не то бы было, не 10%, а прибавили бы 50%, лишь бы только их не трогали. Но наше дело еще впереди, нам нужно собраться и написать свои требования. Идемте к себе на фабрику, соберем более толковых ткачей и прядильщиков и напомним требования. Собирайте людей, зайдите за мной, я возьму бумагу, и примемся за дело, пока все тихо и спокойно.

Когда мы снова собрались и стали обсуждать, где, какие требования мы выставим и кто будет писать, оказалось, что, кроме меня, некому. Требования наши состояли в следующем: 1) Мы, все рабочие, требуем уничтожения всех штрафов и вернуть взятые уже штрафы с 1 октября, за три месяца; 2) увеличения заработной платы всем, без исключения, на 25% на все работы и сорта; 3) уплаты за все прогульные дни, за все время остановки работы, которая произошла по вине хозяина, потому что мы были обременены непомерными штрафами и низкой расценкой; 4) установки контроля над браковщиками из выборных от рабочих, которые могли бы проверять правильность приемки товара и наложения штрафа за действительную и пезаменимую порчу, как это было раньше; 5) увольнения мастеров с фабрики за их притеснение рабочих и грубое отношение с рабочими, как-то — Шорина и других (теперь не помню); 6) удешевления продуктов, выдаваемых из хозяйского магазина по ценам не дороже рыночных, и т. д. Наши требования состояли из 17 параграфов. За писанием требований прошло не мало времени.

Я прочел им также письмо, написанное мною министру внутренних дел, в котором просил его выслать особую комиссию, в виду того, что рабочие не поверят местным властям и т. д. Письмо нашли правильным, и я его отослал.

К вечеру стало известно, что прибыли казаки. Стало прибывать разное начальство: пристава, жандармы, следователи и тому подобная сволочь.

Вечером мы с Волковым обошли все казармы и еще раз просили зря не выходить из казармы и не давать по-

вода к каким-нибудь столкновениям. Если начнутся обыски и аресты, то пусть берут всех подряд, мы все одинаковы, мы все ограблены. Бабам и детишкам не заводить пашней с казаками и солдатами. Сидеть по казармам и больше ничего. Пусть они увидят, что здесь люди сидят смирно и тихо. В таком духе пришлось вести беседы со всеми, в особенности с молодежью, которой не сиделось дома.

На утро пришел полк солдат, которых разместили по свободным казармам. Солдаты, с дороги, сидели в казарме и не выходили. Казаки вышли на переезд железной дороги группой, человек в 25. Детвора сейчас же их обступила; за детворой стали собираться и другие. Видя, что уже порядочно собралось народу, я пошел на переезд послушать, что будут говорить, — кроме шуток и смеха ничего не было. Мне захотелось пощупать немножко казаков, узнать, чем все это пахнет. Я уселся на перилах и начал говорить о казаках, не обращаясь к ним. Начал с того, что такое казак: — Казак — вольный человек и в кабалу к купцу охотой не пойдет; нет, казаки не такие люди, лишь смерть одна к земле прикрепит, да и тогда он землю рыть не будет, и даже мертвый — воли не забудет; только в бою чорту душу отдаст. Казаку жена — сабля острая, казаку изба — поле чистое, казаку торговать не товарами, — лихим мечом, алой кровью. Но теперь времена изменились, атаманы их поглубили, как бабы от старости, разжирели, как свиньи от лености, сами сыты, а о других не заботятся. Все слушают московского царя и толкуют о нарушении клятвы, а московский царь так пригрел казаков, что они и пикнуть теперь не посмеют. Забудьте волю, верную подругу, и величайтесь рабством, как заслугой, и повинуйтесь прихотям московского царя, умиряйте мирный народ и покажите свою рыцарскую храбрость на беззащитном народе. Хорош казак с киркой вместо сабли, да счетами в руках. Нет! Не это казаком называется. Тот — казак, кто за народ сражается и добывает волюшку для черного народа.

Казаки слушали внимательно, изредка только ухмылялись, но ни слова не проронили и с тем ушли. Я попросил своих тоже уйти, не собираться. Сам же я пошел к Волкову и рассказал ему о том, что народ соскучился и дома

не сидит. — Пойдем пройдемся и поглядим, что делается на главной улице, ведь теперь там в сборе все начальство. Пришли еще солдаты, приехал губернатор. Теперь начнется усмирение, — надо быть готовыми ко всему.

Пошли на главную улицу, — там ни души; только часовые стоят чуть не у каждой дверей, да в окнах мелькают мундиры офицеров. Прошли мы так по всей улице и пошли в Зуево. Там я вручил Волкову требование, которое мы решили при случае подать губернатору. Вместе идти нам нельзя, потому что могут арестовать обоих *).

Губернатор уже выходил со свитой на переезд, но там были одни подростки да девчата. Проходя по главной улице, мы видели множество начальства. — Ну, теперь очередь за нами, смотри не трусь, говори смелее, все равно нам не миновать ареста; ты иди прямо на переезд, а я пойду через двор Елиса, — сказал я Волкову. Волков пошел прямо, а я пошел через двор Елиса. Подхожу к переезду, мне говорят, что Волкова и еще человек 50 губернатор арестовал и всех их погнали на старый двор. Расспрашиваю, как было дело? Мне говорят: — Волков, выйдя со двора на переезд, вынул бумагу и стал читать наше требование. Пока он читал, — собрался народ. В это время губернатор, а за ним казаки на конях с пиками. Подойдя к народу, губернатор спросил: «Чего вы хотите?» Тогда вышел Волков и подал губернатору требование **). Тот развернул и говорит: «По-

*) Тов. Моисеенко опустил в своем повествовании один из интереснейших моментов Морозовской стачки. Губернатор, узнав, каковы требования рабочих, обещался поговорить об этом с Морозовым. Результатом этого разговора было объявление, вывешенное администрацией, где Морозов согласился: 1) на скидку, взыскав за плохие работы с 1 октября 1884 г. по день забастовки; 2) на расчет всех, без исключения, рабочих, с условием, за сим, приема на фабрику, желающих согласиться на расценки, объявленные 1 октября 1884 г., предоставить себе при этом право не принимать обратно на службу рабочих по своему усмотрению». («Архив Истории Труда в России». П. 1921 г., кн. II, стр. 49).

Сорвав эти объявления, рабочие расклеили следующие требования: «Объявляется Савве Морозову, что за эту славку ткачи и прядильщики никак не соглашаются работать. А если ты нам не прибавишь расценок, то дай нам расчет, и разотчи нас по Пасху, а то если неразотчешь нас по Пасху, то мы будем бунтовать до самой Пасхи. Ну, будь согласен на эту табель, а то ежели не согласишься, то и фабрики вам не видать» (там же).

**) По разным документам и отчетам, помещенным в «Русских Ведомостях» и «Московских Ведомостях» от 1886 г., этот момент освещен так: на предложение губернатора стать на работу по расценкам

смотрим», и дал знак рукой казакам, которые моментально окружили тех, кто близко стоял к губернатору и пошли во двор*). Как только они прошли во двор, сейчас же у ворот появился караул солдат и казаков и во двор перестали пускать.

Выслушав все это, я попросил ребят пройти по всем казармам и созвать народ. Весть быстро облетела, и рабочие вышли из казарм. Я предложил им всем идти к губернатору. — Если ему нужно, пусть забирает всех, а не нужно, — пусть освободит арестованных. Все равно на работу мы не пойдем до тех пор, пока не удовлетворят наших требований.

Когда мы подошли к воротам, солдаты и казаки нас не пропустили. Тогда мы стали напирать, а казаки пустили в дело пик. Я был отшиблен пикой и упал на снег. Поднявшись, я снова хотел ринуться, но в это время раздался крик в банных воротах. Мы все бросились туда, — бежали во двор и начали звонить во все звонки. Из казарм посыпал народ. В это время ко мне подбегает мальчуган и говорит: «Я знаю, где сидят арестованные». Спрашиваю, — можно ли пройти, есть ли караул и солдаты? — Мальчуган отвечает: «никого нет». — Ну, веди меня. — И с этими словами мы с мальчуганом побежали: он впереди, а я за ним в помещение, где была столовая мальчишек. Пусто, только три—четыре мальчугана. Спрашиваю: — Где же арестованные? — Мне указали на дверь: — «вот там, в другом отделении». Попробовал, — дверь заперта. Скамейки в столовой большие, длинные, аршин в 9. Я попросил мальчуганов помочь мне поднять скамейку. Мальчуганы помогли, и мы

и условиям, на которые сами рабочие согласились 1 октября 1884 г., а не желающие — явиться в контору, где получают расчет, толпа рабочих ответила единодушным криком, что работать на этих условиях не желают и за расчетом не пойдут. Затем ткач Шелухин, отделившись от толпы, как уполномоченный от рабочих, заявил губернатору, что на предложенные условия никто согласиться не может. К нему присоединился ткач Волков. Выступившие Волков и Шелухин были незаметно оттеснены казаками от толпы. Волков громко кричал: «как здесь говорить, здесь все капиталисты, позовите моих людей; где правила?» Ему из толпы подали писанную тетрадь, в которой были изложены требования рабочих.

*) Кроме Волкова и Шелухина было арестовано 51 человек.

ударили ею в дверь. Дверь поддалась, ударили второй раз — распахнулись обе половинки. Вижу — на другом конце столовой сгрудились все арестованные, кроме Волкова и прядильщика*). Я крикнул: — Выходи, — и ребята бросились вон. Осталось человек 7. — Ну, а вы что же, не хотите? Оставайтесь, — и побежал вниз. Только я выбежал, как натолкнулся на солдат: — целая рота с ружьями, а по другую сторону — рабочие. — Что вы делаете? — крикнул я солдатам. — Отходи прочь! Кого вы бьете? Своих отцов и братьев! — В это время один солдат, татарин, направил штык прямо мне в грудь. Я ухватился за ствол ружья, вырвал его и бросил в солдат. Затем перебежал к рабочим и крикнул им: — Отходи! — Рабочие отошли, а солдаты остановились в ряд с ружьями на-руку. Я попросил своих отойти подальше. Ко мне подходили раненные и говорили, что когда они увидели, что наши бегут, а солдаты хотят их задержать, — народ бросился на солдат, и началась свалка. Я лично никогда не думал, что дойдет до этого; я представлял себе аресты и только, но чтобы дошло до столкновения с войсками, — это было для меня неожиданностью. Даже теперь я затрудняюсь дать себе в этом отчет.

Мы стояли огромной массой, нас были тысячи. И вот появляются: владимирский губернатор, прокурор московской судебной палаты Муравьев, владимирский прокурор Товарков и целая свита с гарцующим на лошади полковником. «Зачем вы это делаете? вы противитесь власти, которая поставлена над вами высшей властью; вы нарушаете порядок и своими поступками делаете хуже для себя», — обращается губернатор к рабочим. Тогда я выступил и говорю: — Прежде всего порядок нарушен не нами, а вами. Ваше распоряжение об аресте рабочих, падавших вам мирным путем наше требование, вынудило нас сделать то, что сейчас произошло. Вот кровь рабочих, раненых вашими солдатами. — Полковник, сидящий на лошади, указал на меня губернатору: «Этого человека надо арестовать». Я успел только сказать: — Попробуй! — как меня затерли в толпу, из которой послышались крики: «Освободите остальных, иначе вам при-

*) Тов. Моисеенко по ошибке называет ткача Шелухина, который выступал с Волковым, прядильщиком.

дется арестовать нас всех с женами и детьми,— или Морозов штаны новые посулит?» и т. п.

Мы начали выходить со двора и собираться возле казарм за железной дорогой. Когда нас собралось тысяч до трех, приблизительно, я начал говорить о насилии над рабочими, упирая на то, что рабочим неоткуда ждать защиты, рабочий должен сам себя защищать, а для этого надо плотнее и дружнее сомкнуться в ряды и защищать друг друга; для того, чтобы улучшить свою жизнь, надо не давать в обиду своих братьев—товарищей, употребить все силы на то, чтобы вырвать остальных из когтей опричников, и т. п. Говорить пришлось много на разные темы. В то время, как я говорил, к нам подошел офицер с просьбой разойтись и выбрать из своей среды уполномоченных для переговоров с губернатором. На слова офицера я сказал:—Во-первых, выборных послать мы не можем до тех пор, пока губернатор не освободит остальных наших уполномоченных; во-вторых, я бы просил вас, г. офицер, доложить губернатору, что те люди, которые арестованы, так же виноваты, как и мы, все здесь находящиеся. Только тогда мы будем разговаривать с губернатором, когда он вернет нам наших братьев. Прошу вас убедительно передать это губернатору.—Офицер обещал исполнить мою просьбу и ушел.

Тогда я предложил рабочим послать телеграмму министру внутренних дел, которой известить, что мы, рабочие, не пойдём на работу до тех пор, пока не будет прислана особая комиссия, которая должна будет расследовать конфликт между нами и Морозовым, а не арестовывать рабочих и призывать вооруженную силу. Все согласились со мной. Но кто пошлет? В Орехове нельзя, сейчас же арестуют и телеграмму не пошлют; надо из Павлова или из Богородска, или из Москвы. Кто согласен на это, пусть подумают и выберут из своей среды человека, а я тем временем напишу телеграмму*). Я пошел писать к себе

*) О дальнейшей судьбе этой телеграммы мы узнаем из судебного отчета, помещенного в «Русских Ведомостях» за 1886 г.: «...шел протокол осмотра прошения, посланного во время беспорядков неизвестным лицом по поручению и просьбе рабочих фабрики Саввы Морозова на имя члена государственной (?) полиции в Петербурге, оно было приобщено к делу. Под прошением стояла подпись какого-то Филиппова». Филиппов—повидимому, Моисеенко.

в комнату. В коридоре мне повстречалась одна ткачиха и пригласила к себе выпить, у нее оставалось еще от праздника. Я с удовольствием согласился и выпил стакан водки, что меня очень подкрепило. Написав телеграмму, я вышел и прочел ее перед собравшимися. Все согласилось со мной. Но кто же пойдет отправлять? Все закричали, что, кроме меня, пойти некому, что у нас нет таких людей.—Хорошо,—говорю я,—я пошлю, но дайте мне обещание, что вы не пойдете на работу до тех пор, пока я не возвращусь; быть может, мне удастся кое-что добыть для поддержки нашей забастовки.—Все поклялись, что ни один человек не пойдет на работу, что бы с ним ни делали, что они твердо будут стоять на своем до моего возвращения.—Хорошо. Теперь попытаемся еще раз освободить Волкова и Яковлева. Пойдемте все до одного, авось удастся.

Уже смеркалось. Мы направились к главной конторе, где нас уже ждали казаки с нагайками, и кой-кому из нас попало изрядно. Воспользовавшись суматохой, я проскочил в Зуево (из Зуева в Дубровку на фабрику Зиминных никого не пропускали). Я переночевал у моего земляка на фабрике, а рано утром, задолго до света, он меня разбудил, и я отправился в Ликино к своим товарищам. Я застал дома всех:—Луку, воспитанницу и брата, которые там работали. Был Татьянин день, и воспитанница была именинницей. Раздевшись, я заметил у себя на груди запекшуюся кровь. Сняв рубашку, я промыл рану, а товарищ Лука осмотрел ее. Рана, пробитая штыком, оказалась неглубокая.

Воспитанница наша захлопотала, чем бы меня порадовать, и надела мне на шею крест. Мы с Лукою оба посмеялись, ибо оба были неверующие, но обижать девочку не хотелось. Я принял подарок, и до сих пор он лежит у меня в коробке, как память. Лука Иванович смеялся все время: вот, мол, получил награду от молодого поколения.

Я пробыл целый день в Ликине, так как днем идти было нельзя. Решил идти пешком до Павловского посада, верет 18—20 от Ликина. Луке я строго приказал запрятать всю нашу переписку, чтобы не попала в руки жандармов. Одев полушубок брата и валеные сапоги, я отправился в

путь-дорогу. Прощел Иваново, Дрезну, заглянул на станцию, где мне показалось подозрительно, я направился в Павлово. В Павлове я зашел прямо в гостиницу, в которой за круглым столом сидели жандарм, хозяин гостиницы и еще какие-то люди. Я прошел мимо, в другую половину комнаты, сел за стол и заказал себе чаю.

До прихода поезда было еще много времени. Сижу, склонив голову на руки, как-будто дремлю. За соседним столом сидят два субъекта. На столе у них ничего нет, разговаривают тихо. Я уловил несколько фраз о морозовской забастовке и, между прочим, о том, что надо во что бы то ни стало поймать зачинщика. Через некоторое время ко мне подсел один из них и начал расспрашивать меня, куда и зачем я иду. Отвечаю, что я из такой-то деревни, еду в Москву за товаром на фабрику Коншина, что вот рано приехал и приходится ждать поезда, а дремлетесь, — и опять склоняю голову на руки. Субъект отходит, подходит другой и спрашивает о том же. Ну, думаю, не переоденся я, конечно, был бы арестован, а у меня с собой письма для отправки в Сибирь: Коняеву в Устьянск и Лаговскому в Янцыр. Надо их уничтожить. Пошел в уборную, порвал и бросил. Ну, теперь будь, что будет, надо как-нибудь улизнуть от этих соглядатаев. До прихода поезда ничего не сделаешь, надо ждать. Наконец, подходит поезд. Я направляюсь к двери, впереди меня показались двое с фонарями. Я замедляю шаг при выходе, смотрю: они — на станцию, — забегаю за лавчонку. Остановился и жду, что будет. Через минуту от станции показались опять эти субъекты с фонарями, пробежали в гостиницу и опять на станцию. Тут для меня стало ясно, что на станции показываться нельзя. Тогда я отправился к Павловке, прошел ее. Куда идти? В Богородск, благо погода хорошая, идти все лесом, верст 15 до села Ключева. — Я взял напрямик, прямо в лес, и скоро очутился в лесу. Теперь я в безопасности. Иду себе не спеша, дорога знакомая. Вдруг слышу звонки колокольчика, завывает трелью, — я в сторону, спрятался за кусты и жду пока проедут. Скоро показался ямщик с седоком. Кто это был, узнать мне не удалось. Как только они проехали, я вышел на дорогу и пошел не спеша.

На рассвете я уже был в Ключеве, остановился у своей бывшей хозяйки (я раньше квартировал у нее). Стал спрашивать, как идут у них дела, на что хозяйка поведала мне следующее: «Бунт поднялся, да такая кутерьма, как только услышали, что у Морозова бунт, контора сейчас же вывесила объявление, в котором извещалось о прощении всем штрафов, о прибавке заработной платы на 10%. Мастера стали такие добрые, да ласковые. Квартирную плату назначили для тех, кто живет на вольных квартирах. После этого народ немного успокоился, но зато полиции поприбавилось. На дворе не дают собираться; у ворот повсюду стоят полицейские. У нас тут говорят, что будто ты заварил всю эту кашу у Морозова». Говорю хозяйке: — А вам от этого хуже стало, поди, я думаю, вас стошнило от этого? — «Да, нет, я это так, к слову сказала». — Ну, скажи, пожалуйста, можно будет пробраться на фабрику, повидаться кое с кем? — Хозяйка даже подпрыгнула: «Что ты, разве можно? Да тебя там сейчас же схватят. Нет, нет, боже тебя избави, не ходи и глаз не кажи». Что тут оставалось делать? Рисковать собой, будучи неуверенным, что можно что-либо сделать, когда уже хозяева поторопились наложить пластырь на рану рабочему? Все было за то, чтобы отправиться в Москву. Поблагодарив хозяйку, я, не заходя на фабрику, пошел в Богородск, а оттуда — в Москву.

По большой дороге нагоняю мужичка, который тоже направляется в Москву. В этот день до Москвы добраться нам не удалось. Пришлось заночевать в деревне. На вопрос хозяина, есть ли у нас документы, мы ответили утвердительно. Тогда он принес нам пук солом, мы расстелили и уснули, как убитые.

Рано утром, чуть свет, мы встали, поблагодарили хозяина за ночлег и отправились в дорогу, а к полудню были уже в Москве. Я направился прямо к Покровским воротам, рассчитывая разыскать прежде всего брата Луки Ивановича, который служил у своего дяди водовозом. У Покровского бассейна, вижу, стоит с бочкой Петр Иванович. Поздоровались, отозвал его в сторону, рассказал вкратце в чем дело, а также спросил, есть ли у него кто-либо из знакомых, которые могли бы меня познакомить с интеллигенцией. Петр

Иванович, к сожалению, никого не знал. Я пожурил его. — Какие же вы деятели? Жить в Москве и не иметь связей. — Он грустно покачал головой. Я взял у него денег рубля полтора и отправился на фабрику Альберта Гюбнера, под Девичьим полем, где были мои родственники. Разыскав родственника, я сказал ему, что мне нужно увидеть таких-то людей, есть ли у них таковые? Родственник ответил, что людей у них таких нет, что у них все темный народ, газет и тех не читают, бояться. О морозовской стачке он ничего не слыхал. Больше говорить с ним я не стал, распростился и пошел к бабушке, которая жила в кухарках на Никитской улице. На душе у меня было скверно, таких людей, которых я хотел найти, я не нашел, подойти же к первому встречному студенту и рассказать ему все, я понимал, было невозможно.

На утро, напившись чаю у бабушки, я отправился к сестре бахромнице, в надежде узнать от нее о нужных мне людях. Но и тут меня ожидала неудача. Злость меня взяла. Неужели, думаю, так-таки никого не удастся разыскать? Выйдя от сестры, я направился на Хитров рынок, где думал купить в трактире паспорт. Сел к столу, сейчас же ко мне подседа уголовная братия. Я говорю им: — Мне нужны очки. — Они живо метнулись куда-то и через пять минут вернулись. «Есть». — Сколько? — «Полтора». Я посмотрел: нет, не годится, и ушел от них.

Пошел на Покровку к Абраменкову с окончательным решением ехать обратно на фабрику, беру еще денег на дорогу. Будь, что будет, зато своей головой людей спасу. Я твердо решил взять всю вину на себя, зная вперед, что ссылки все равно мне не миновать. Своим признанием я избавлю других от тюрьмы. С облегченным сердцем поехал я обратно на фабрику. Не доезжая до Орехова, я слез в Дрезне, так как хотел зайти в Ликино к своим. Иду, ничего не подозревая, прохожу всю деревню Иваново, подхожу к Ликино и слышу кто-то говорит: «Кто идет?» Отвечаю: — свой. — «А, это вы, Петр Анисимович?» — Да, это я. — Подходят ближе. Вижу знакомые лица. Поздоровались. Они мне и говорят: «А мы вот уже которую ночь караулим тебя, у нас тут строгий приказ: как только увидят тебя, — то

сейчас же арестовать». — Ну, так зачем же дело стало, арестуйте. — «Нет, Петр Анисимович, мы надумали вот что: идите-ка вы в село, ведь там есть кум вашего отца, у него вы переждете». — Нет, друзья мои, я никуда не пойду, я знаю, что все равно мне не избежать того, что уже раз решено. Об одном попрошу вас, — дозволейте мне сходить на квартиру проститься со своими, через полчаса приходите и берите меня. — «Хорошо, мы и на это согласны».

Я пошел на квартиру, где застал одну воспитанницу, которая встретила меня со слезами. — Что случилось, отчего ты плачешь? — «Да, как же не плакать: — Гринцу и Луку арестовали и все твои письма забрали». — Так об этом плакать, брось, глупая, ничего не будет, поддержат их немного и выпустят. — «Да, — выпустят, ведь там, у Морозова, всех арестовали и всех отправили: кого в Москву, кого в Покров, а кого во Владимир. Не только мужчин, но и женщин. Мы думали, что и тебя арестовали. Как же ты прошел? Ведь тебя ищут по всем деревням». — Ну, теперь уже искать больше не будут, а за мной скоро придут и заберут, ты же будь панька и не плачь, лучше дай-ка мне чего-нибудь поесть.

Танюша принесла мне соленых грибов с квасом, я поел, переоделся и стал ждать. Не долго мне пришлось ждать. Пришел десятский и пригласил меня в съезжую. Я живо собрался, и мы пошли.

В съезжей нас уже поджидали староста и встретившие меня товарищи. Староста объяснил мне, что я арестован, утром за мной приедут от Морозова жандармы. Приказав десятскому смотреть за мной, староста ушел.

На съезжую стал собираться народ.

Я чувствовал себя совершенно успокоенным, памятуя, что надо воспользоваться случаем и, насколько возможно, пояснить рабочим, что такое стачка и как следует проводить ее. — Вот вы все жалуетесь, что вам плохо живется, вы все уповаете на бога, забывая русские пословицы: «бог-то бог, да не будь и сам плох», «на бога надейся, да и сам не плошай», «будешь плох, не даст и бог» — вот и у Морозова то же самое было. Все надеялись, авось, бог даст и переменится, и дождались, пока бог услышал и вразумил,

просветил их разум и сказал им: объединитесь все, как один, и восстаньте против вашего угнетателя и потребуйте от него то, что он у вас отнял, ибо это ваше. Знайте раз навсегда, что нет выше заповеди—«положить душу свою за други своя». Что вам дают ваши хозяева? Они дают вам лишь то, чтобы вы не подошли с голода, потому что это им не выгодно: если мы подохнем все, то некому будет работать и, они сами должны будут подохнуть. Поэтому хозяева и стараются держать рабочего впроголодь. Всмотритесь хорошенько, что хозяину дороже: человек, или его гончая собака? Я думаю, что для него дороже собака, потому что за собаку были заплачены деньги, а рабочий ему ничего не стоит. От рабочего ему нужны только его мускульные силы. Пока у рабочего есть эта сила,—он его держит; не стало силы,—он его выбрасывает, как негодную вещь. А вы все говорите: бог да бог. Вот вам и бог; для него бог это его карман, а вы его овечки, которых он стрижет, когда ему вздумается. Чем больше он настрижет, тем больше положит себе в карман, и глядишь—через годиков пять выстроит прядильную. Тогда овечек еще прибавится, знай,—стриги и набивай свой карман, а вы как были голы и босы, так и останетесь голыми. Все это я вам говорю для того, чтобы вы взялись за ум хорошенько, подумали о своем житье-бытье, помнили мои слова: «Ты работай, как хошь, от нужды не уйдешь, а как век доживешь, как собака помрешь». «Что за лютый злодей, за лихой чародей наши деньги берет, кровь мужицкую пьет. Эх, не лютый злодей, не лихой чародей наши деньги берет, кровь мужицкую пьет. А толстопузый купец, да царь белый—отец разорили в конец». Да, вот кто истинные виновники всей нашей жизни.

Рабочие слушали и только поддакивали: «Да, верно, все это правда, но с нашим народом ничего не поделаешь: вся беда в том, что мы люди темные, к кому пойдешь, что скажешь? Ежели, к примеру, начнешь говорить—тебя же осмеют, а то и того хуже—сейчас донесут, что вот, мол, у нас законник появился, глядишь—пожалуйте в контору и сейчас паспорт в руки, денежки в карман и иди куда хочешь, на все четыре стороны. А у тебя семейство, так и терпишь».—Хорошо, терпи народ, пока твой час пробьет,

пока твой стон до господа дойдет, терпи холоп и подставляй свой лоб; терпи мужик, ведь ты терпеть привык... Эх, друзья мои, вот в том-то и задача вся: «чем был бы хуже твой удел, когда бы ты менее терпел»? Вся беда наша в том, что мы не умеем сообща делать, а все вразброд. Всякое дело тогда только хорошо, когда оно делается объединенно, сообща, всем рабочим людом, дружной организованной рабочей семьей. Говорится: «голос народа—голос божий». Вот вы и собирайтесь почаще и обсуждайте ваши дела, требуйте, чтобы ваших детей учили в школе, а не на фабрике; добивайтесь, чтобы работник мог заработать столько, чтобы прокормить свое семейство, а не посылать детей на фабрику, где их мучают и преждевременно вгоняют в могилу.

Так мы провели время до самого утра, а утром приехали жандармы и меня посадили в сани. Народ весь вышел еще раз проводить меня с пожеланием скорее возвратиться. Лошадь тронула, и мы покатили на Морозовскую фабрику.

Всю дорогу жандармы не проронили ни слова. Когда я приехал на фабрику, меня ввели в помещение главной конторы (в нижнем этаже). За всю дорогу, вплоть до самой конторы, не было видно ни одного рабочего: одни солдаты ходили по улице; не слышно было шума фабричных корпусов. Это было уже 17 января.

В помещение, куда меня ввели, поставили караул из двух казаков и дежурного жандарма. Помещение было громадное. Я уселся на скамейку и начал мурлыкать малороссийскую песенку. Пришлось ждать, пока позовут. Так просидел я часов до десяти. В одиннадцатом меня повели на верх, в контору. Жандарм ввел меня в комнату к следователю. Здесь я увидел одного подмастерья и мальчика. Следователь при мне их ни о чем не спрашивал—из этого я заключил, что это только для подтверждения моей личности. Их тотчас же отпустили, после чего следователь обратился ко мне с вопросом, кто я и что я могу сказать по поводу стачки на фабрике. Я заявил следователю, что я желал бы написать протокол сам. Следователь сказал, что он этого разрешить не может; тогда я заявил, что в таком случае не могу дать никаких показаний. Следователь начал убеждать меня, что своим отказом я могу повредить

только себе, больше никому; все равно, так или иначе, следствие установит, кто прав, кто виноват.

— Как вам будет угодно, а протокол я буду писать сам; раз вы отказываетесь дать мне возможность писать—дело ваше. Больше я вам ничего не скажу.

Следователь позвал конвойного, и меня увели в занимаемое мною помещение, а через полчаса я был у жандармского полковника, седого старика. Лишь только я вошел, как полковник пригласил меня сесть. Я сел в кресло, полковник напротив меня. «Ну-с, молодой человек, расскажите-ка вы мне, как у вас тут произошло. Только прошу говорить правду, сущую правду, не скрывая ничего. Вы, кажется, уже были у г. следователя?—Да, был; я просил господина следователя дать мне бумаги, чернил и перо, чтобы написать протокол, но следователь мне отказал. Мне желательно именно самому написать протокол, вот почему я и отказался давать показания.—Полковник Фоминцын берет чистый бланк и начинает спрашивать имя, отчество и т. д. Записав все эти вопросы, он попросил меня рассказать о моем прошлом.—Прежде всего, господин полковник, прошу вас дать мне ваш протокол, и я напишу вам все, что я только знаю.—«Как, вам дать протокол? Этого я сделать не могу. Протокол вы должны написать под мою диктовку, иначе быть не может».—Под вашу диктовку протокол я писать не буду, пишете вы, что хотите.—«В таком случае я буду вынужден препроводить вас в тюрьму».—Это дело ваше, как вам заблагорассудится, хоть за тюрьму...

Полковник позвал жандарма, приказал отвести меня в помещение и следить за мной строго. Так в этот день окончился мой допрос.

Ночь я проспал, как убитый. На утро встал, попросил жандарма принести воды, умылся, освежился как следует, попросил принести кипятку, заварил себе чаю. В то время, как я пил чай, ко мне подсел жандарм и начал разговор о Морозове, о том, сколько народу кормится на фабрике и т. п.—Да,—говорю я,—много народу кормит и никак не может накормить такое ненасытное брюхо,—сколько ни жрет, все ему мало, когда только налопается, а придет пора—облопается.—Видя, что разговор принимает такой оборот,

жандарм сообщил мне, что Морозов знаком даже самому государю, недаром государь произвел Морозова в советники и т. д.—Верно русская пословица говорит: «ворон ворону глаз не выклюет». Недаром все наши купцы толстопузые, в особенности старообрядцы, не любили Петра Первого. Он брил им бороды и одевал в немецкое платье. Старообрядцы считают его антихристом и сейчас.—Так за разговором прошло время. Принесли обед: щи и кашу, я пообедал. Пришел другой жандарм, приглашает пожаловать за ним. Прихожу в контору. Там сидит полковник, а рядом с ним господин в штатском со значком судебного ведомства. Последний просит полковника оставить нас, отрекомендовывается, что он прокурор, присланный от министра внутренних дел (если не ошибаюсь,—Доброжинский), вынимает из кармана письмо и показывает его мне *) «Это вы писали»?—Да,—говорю я. «Так вот, голубчик, почему вы отказываетесь дать показания?»—Я не отказываюсь, а прошу только, чтобы мне дали бумаги, чернил и перо, тогда я напишу показание.—«Почему же вам не дали этого»?—Не знаю.—«В таком случае, вот вам комната и бумага, все, что только вам потребуется, все вам подадут. Садитесь и пишите, я прикажу, чтобы вам подали чай». Я попросил разрешения сходить в помещение за табаком. «Не беспокойтесь, вот вам и папиросы». От радости мой прокурор рассыпал папиросы. «Скажите, пожалуйста, как все это произошло, кто причиной всему этому»?—Причиной всему этому—администрация, которая, чтобы предупредить забастовку, вооружила сторожей, конюхов и послала их избивать рабочих. Вот, посмотрите в это окно, отсюда отчасти видно, где прежде всего начали избивать рабочих.—«Хорошо, понимаю, прошу вас, садитесь и пишите все, что и как произошло».

Я вошел в комнату, где для меня все уже было готово. Усевшись за стол, я начал писать свою историю. Это не протокол, а история. Я начал с того, когда еще работал в Дубровке у Зимина. Тогда я уже знал, каковы условия

*) Речь, вероятно, идет о письме, посланном П. А. Моисеенко во время стачки министру внутренних дел, в котором просил его выслать особую комиссию, так как рабочие не доверяют местным властям.

работы у Морозова и на других фабриках. Потом писал о ссылке в Смоленскую губернию, где был под надзором полиции, с лишением права жить в столицах, о побеге из ссылки, стачке на Ново-Прядильной, у Шау и т. д., о ссылке в Сибирь в Енисейскую губернию, о жизни в Сибири, где у меня созрела мысль по окончании ссылки поступить на фабрику Морозова, что и сделал по возвращении из ссылки. В 1883 г. я возвратился и поступил на Морозовскую фабрику под фамилией Моисеенко. Также описал я, каким образом получил я такую фамилию. В то время, как я писал, вошел полковник, посмотрел на мое письмо, но ничего не сказал. Я попросил полковника, чтобы он разрешил мне повидаться с женой. Полковник обещал и действительно вызвал жену, с которой я увиделся в его присутствии. Она принесла мне чаю, сахару и табаку. На мой вопрос, чем жена занимается, она отвечала, что ничем, на фабрику не принимают, почему—она не знает. Обращаюсь к полковнику и спрашиваю, почему такое преследование женщины, которая буквально ничего не знала и не знает. Полковник обещал все устроить, обнадежив меня, что жена будет принята на работу. Жена ушла, а я снова принялся за свой протокол. Писал я не спеша, обдуманно, старался всякую мелочь взять на себя, вплоть до вычисления средней заработной платы, а также и вычета штрафов. Во время моего писания ко мне входили полковник и прокурор; раз вошли Муравьев и Товарков. Заметив мое писание, Товарков говорит: «К чему все эти мелочи?» На что Муравьев ответил, что из мелочей составляется целое. «Да, но все это лишнее, ведь скоро должен быть издан закон для рабочих».—Да, теперь, может быть, скоро, не будь этой стачки, наверное пришлось бы ждать лет десятков.—Ушли. Я начинаю размышлять: «вот оно что, значит наши труды не пропадут даром; если и пострадаем,—все же дело подвинется вперед». И мне пришло на память стихотворение: «Вперед, без страха и сомнений, на подвиг доблестный, друзья...».

Ко мне опять пришла жена и сообщила, что с меня высчитали три рубля за книгу, не сданную в библиотеку. К этому я отнесся равнодушно. Полковник спрашивает: «Какая книга?»—Журнал, «Вестник Европы»,—отвечаю я.

«Ничего, я поговорю с сыном Морозова, не высчитают»,—успокоил полковник.

Протокол пришлось писать слишком двое суток, только на третий я его закончил. Прокурор и полковник просмотрели, кое-что пришлось исправить, и протокол был подписан.

При выходе из конторы, меня задержали несколько. Гляжу—выходит Морозов, смотрит на меня, словно слопать хочет. Жандарм приглашает меня последовать за ним, и я снова в своем помещении. Осмотрел свои вещи, оказалось—табак мой улетучился. Я заявляю жандарму о пропаже табака и прошу доложить полковнику, который вскоре отдает распоряжение выдать табак. Через некоторое время меня вызывает следователь и просит написать в сокращенном виде протокол, отбросив все прошлое, которое для суда не требуется, а только то, что касается настоящего дела. Снова пишу. Вдруг мое внимание привлекает открытая книга законоположения. «308» статья говорит: «за нападение на военный караул и освобождение арестованных наказание от 12 до 15 лет каторги».

У следователя мне пришлось долго засидеться, и только к вечеру я закончил протокол. Когда следователь вошел, я, указывая ему на статью, говорю:—Неужели вы думали запугать меня этой статьей? Каторги я не боюсь, я знал вперед, что вы меня не помилите, а постараетесь запрячь, куда Макарыч телят не гонял, я все это знал.—Следователь начал оправдываться, говоря, что это ни к чему не поведет. «Мы можем выставлять статьи, а суд может их не признать, и я ручаюсь, что это так и будет». Я просил следователя взять с фабрики несколько книжек, по возможности с разных станков, чтобы можно было наглядно убедиться в правильности моих показаний, где, как в зеркале, видно все то, что творилось на фабрике. Следователь тотчас же отдал распоряжение принести заработные книжки рабочих с разных станков. Из разговора со следователем я заключил то, что он желает добиться как можно больше ясности в этом, поистине, заколдованном кругу.

Принесли книжки. Пришел товарищ прокурора и вместе со следователем начали просматривать их. Просмотрели од-

ну, другую, переглянулись и говорят: «Здесь мы ничего не можем понять, штраф, штраф, а за что,—разобраться мы не можем. Скажите, пожалуйста, что означает буква «б» или буква «к?» Я начинаю им разъяснять: буква «б» это—близна.—«А что такое близна?»—Это недостаток одной нитки основы в полотне, отчего в последнем просвечивает полоска.—«А буква «к», где записано штрафу 75 коп., это что значит?»—Это значит кромка не хороша, т.-е. не к чему придраться, ну, вот кромка тут и есть. Это еще цветки, а ягодки впереди. До чего доходит открытый грабёж, я вам расскажу. Например, ткача или ткачиху призывают, берут их книжки и пишут штраф. Ткач просит показать свой товар, так как он знает, что ничего подобного у него нет. Его просят не разговаривать, так как в противном случае еще штрафу прибавят. Что тут остается делать рабочему, куда пойдешь, кому скажешь? Так вот и терпели до поры до времени. Вы скажете, что по правилам за хорошо сработанный товар полагается награда. Да, на бумаге это так, но на деле—другое. Я бы просил вас вызвать в качестве свидетеля подмастерья такого-то. С ним вот что произошло. Сдал он кусок полубархату, товар был действительно сработан безукоризненно и он ждал премии, но что же оказалось: когда в браковскую вошел хозяин, браковщик показал ему этот кусок. Морозов, перелистывая кусок, говорит: «Хорошо, хорошо сработано, запишите ему 50 коп. штрафу, он еще лучше сработает». Вот вам и премия и награда за труд... Перед вами 50 книжек, найдите хоть бы одну, в которую была бы вписана премия. Народ был доведен до отчаяния. Вот чем все это и было вызвано. Сяли ветер, а пожали бурю...»

Когда я закончил свои показания, меня отвели в помещение, где я находился все время, а через час пришел жандарм и предложил мне собрать свои вещи, так как сегодня меня отправят в тюрьму. Так кончилась моя работа на фабрике Морозова.

Вечером мы тронулись в путь. Жандарм и я сели в одни сани, полковник—в другие. Конвой из казаков провожал нас до станции Орехово. На станции было полно народу, который расступился перед полковником, и мы прошли на

дебаркадер. Поезда еще не было, пришлось ждать несколько минут. Полковник, обращаясь ко мне, вдруг говорит: «Напрасно вы все это сделали, надо было бы подождать до поры до времени, должно было скоро измениться к лучшему».—Да,—говорю я,—теперь изменится, так говорит и прокурор Муравьев, а не будь этой стачки, еще лет десяток пришлось бы подождать. Мы пострадаем, зато другим будет лучше, свобода искупительных жертв просит.—В это время подошел поезд, полковник направляется в первый класс, а мы с жандармом в третий. Уселись в отдельном купе, где к нам присоединяется еще один жандарм. Мне вспоминается Некрасовское стихотворение: «Жандарм, с усидцами в аршин, девятый шкалик выпивает. Гремит, звенит и улетаёт, куда Макар телят гоняет».

Всю дорогу жандармы молчали. По приезде во Владимир, прежде всего мы заехали в жандармское управление, написали там бумагу и только после всего этого отправились в тюрьму.

В тюрьме все спало. Жандарм достучался, отворились ворота адовы, и я в последний раз простился с волей, зная вперед, что из тюрьмы я не скоро вырвусь. Смотритель, узнав, что я с Морозовской фабрики, приказал обыскать меня и отобрать все, что имеется. Со мной был узелок с хлебом, чаем, сахаром и табаком. Табак отобрали было, но я сослался на разрешение полковника, которое подтвердил и жандарм, и табак мне возвратили. Старший надзиратель пригласил меня следовать за ним. Я взял свои вещи, и мы пошли. В коридоре второго этажа нас встретил дежурный надзиратель, который привычной рукой отпирает замок моего жилья. Камера большая, но в ней нет ни стола, ни табуретки, вдоль стен нары голые. Надзиратель приносит войлок для постели, и я остаюсь один. Осматриваю стены, нары, подоконник,—нет ли где каких-либо надписей,—кроме пошлых, ничего не нашел. По всей вероятности, здесь камера уголовная. Сел я на нары и задумался. Спать еще не хотелось. Слышу, подходит к форточке надзиратель, спрашивает: «Что, еще не спите?»—Нет, неохота спать.—«Вы откуда были?» Говорю, что с фабрики Морозова.—«Много вас оттуда пригнали, некоторых уже выслали на родину, теперь не-

много осталось здесь, двое или трое, хорошо не знаю. Ну, спокойной ночи».—Я улегся на нары и уснул. Но не долго пришлось мне спать: клопы не дают новичкам долго покоя, с ними мне пришлось повоевать. Улегшись снова, я проспал до утра. Утром по моей просьбе дежурный коридорный принес мне кипятку и вместе с ним записку от Луки Ивановича Абраменкова*). Когда надзиратель ушел, я прочел записку, из которой узнал, что Волков здесь, но он сидит в общей камере с уголовными, и его на этот коридор не пускают. У меня нашелся маленький огрызок карандаша и я написал Луке все, что со мной случилось, что в протоколе я взял всю вину на себя и что жену вновь приняли на фабрику. Не забыл пожуричь его за то, что он не мог спрятать переписку, чем и навлек на нас новое дело. Так с первого дня у нас началась переписка.

Благодаря моим настойчивым требованиям, мне разрешили прогулку на полчаса. Луку я увидел через окно. Пища была скверная, но с голоду приходилось и ее уничтожать.

На другой день меня позвали в контору и там предложили снять одежду и одеть арестанскую. В камере я почувствовал скуку: читать нечего, писать же нельзя. Оставалось одно занятие,—ходить из угла в угол и думать думу крепкую. Зову надзирателя и спрашиваю, есть ли у них библиотека. Надзиратель говорит, что надо спросить у батюшки, у него арестанты берут книги. Вечером он приносит мне душепасительную книгу. Ну, думаю, теперь начну изучать богословие, то-то будет богослов в обратную сторону.

Вот так и потекла моя жизнь. Иногда смотритель выкинет какую-нибудь штучку, ну, конечно, сейчас же идешь в канцелярию, пишешь прошение, прокурору или полковнику, оттуда едут расследовать дело, и смотритель получает нагоняй, и для нас пища на целую неделю. По воскресеньям

*) Узнав, что Моисеенко проживает под именем Петра Анисимова у Луки Ивановича Абраменкова, жандармы отправились к последнему. Моисеенко, конечно, не нашли, но при обыске нашли письма от политических ссыльных из Сибири. Абраменков был арестован.

приходила жена, которая во Владимире поступила в кухарки за два рубля, но с тем условием, чтобы каждое воскресенье иметь возможность ходить в тюрьму на свидание. Так просидели мы с Волковым с января 1885 г. до октября 1886 г. в ожидании суда. При таком режиме и скудном питании у Волкова начал развиваться туберкулез. Лечения никакого не было. Луку Ивановича освободили, продержавши 10 месяцев. 1885 год прошел, а о суде ничего не было слышно. Весенняя сессия прошла, а про нас словно позабыли. Одно утешение было у нас, это то, что наши жены нас не забывали, ходили каждое воскресенье и по праздникам и приносили с собой все, что только могли. Мне не было так горько за себя, как за Волкова. Он был еще новичок, и для него тюрьма была во сто крат тяжелее, чем для меня. К тому же он сидел с уголовными, атмосфера развращающая, а не успокаивающая. Я видел, что Волков мой чахнет, но сделать ничего не мог.

В мае 1886 г. мы получили обвинительный акт в печатном виде на 8 страницах или даже больше. Первой стояла моя фамилия, второй—Волкова, третья—Яковлева, прядильщика (кажется, не ошибаюсь, называя его фамилию), а потом уже подряд остальные, которых было до 50-ти человек, обвиняющихся по другим статьям. Мы с Волковым тотчас же подали заявление в окружной суд, чтобы нам позволили просмотреть наше дело. Суд разрешил, и мы были вызваны. В суде мы с Волковым сговорились написать в Москву Плевако и Шубинскому, прося их взять на себя нашу защиту. На просмотр мы ходили три дня, пересмотрели показания, хотелось узнать, кто был против нас, но сколько ни рылись, не нашли никаких показаний, уличающих нас в чем-либо серьезном. Мы остались довольны и были уверены, что кроме наших личных показаний у суда ничего не будет.

Через неделю мы получили ответ от Плевако и Шубинского, что они принимают защиту на себя, они уже подали заявление в окружной суд.

Первый суд будет коронный, судебная палата. Этому суду предстоит судить только трех человек, организаторов стачки. Мы с нетерпением ждали суда, хотя я наперед знал,

что этот суд будет шемакиным судом. Нас ждет осуждение, и даже Плевако не поможет. Волкову этого я не говорил, зная, что это будет бесполезно. Яковлева с нами не было, и мы до суда не знали, где он находится. Лишь на суде только узнали, что он был выслан под надзор полиции, но в какую местность, не знаю,—забыл.

Накануне суда приехал Плевако, посетил нас в тюрьме, где советовался с нами, с чего начать защиту. Я говорю Плевако: «Мне кажется удивительным, что никто ничего не знал о том, что творится на фабрике Морозова, как-будто это в другом государстве, несмотря на то, что морозовский товар славится не только в России, но и за-границей». Тогда Плевако говорит: «Да, все это верно; фабрика Морозова находилась за Китайской стеной, вот мы с этого и начнем». Спросил потом, как мы живем, на что я пожаловался, что плохо, что делать нечего, книг нет, очень тяжело. Перед уходом Плевако осведомился, есть ли у нас деньги, на что я ответил, что они нам вовсе не нужны, так как наши жены приносят нам все, что необходимо. Но Плевако вынимает портмоне, достает пятишник и подает его Волкову. Тот берет и благодарит. Признаюсь, что мне было неловко сказать Волкову при Плевако, что он нехорошо поступил, и я промолчал. Плевако остался в конторе, а нас повели обратно в тюрьму.

Утром, часов в девять, нас пригласили в контору. Там уже нас ожидал конвой. Привели нас в арестантскую комнату, где пришлось ждать до 11 часов. Наконец, нас повели в залу суда. Зал был полон народу, весь владимирский бомонд был тут, а за председательским столом в креслах восседали чиновники высших рангов; был и прокурор московской судебной палаты—Муравьев, корреспонденты московских газет и т. д. За решеткой я увидел товарища Яковлева. Дамы навели свои лорнеты в нашу сторону, разглядывая нас, как заморских зверей. Пришел наш защитник Плевако и раздался возглас пристава: «Суд идет». Все встали; пригласили и нас встать. Мы встали. Входит председатель суда, два члена и секретарь. Прокурор суда становится за свой пюпитр, раскладывает бумаги; председатель объявляет суд открытым. Прочитывается секретарем обви-

нительный акт, в котором мы обвиняемся, как зачинщики стачки, а все содеянное нами будет разбирать суд присяжных.

После прочтения акта слово предоставляется прокурору, который говорит не долго, больше налегая на мое прошлое, выставляя меня человеком, который никогда не будет доволен. Волков, как более развитой и сознательный рабочий, явился хорошим помощником, в результате чего фабрика была остановлена, что причинило неисчислимые убытки как хозяину, так и государству, и т. д. В таком духе была речь прокурора.

Защитник наш начал с того, знает ли кто-либо, как происходила работа на фабрике Морозова. «Я сознаюсь, грешный человек, что до настоящего времени не знал ничего. Фабрика Морозова была защищена Китайской стеной от взоров всех; туда не проникал луч света, и только благодаря стачке, мы теперь можем проследить, какова была жизнь на фабрике. Когда мы читаем книгу о чернокожих невольниках,—возмущаемся, но теперь перед нами белые невольники». (Председатель делает замечание). «Я коснусь здесь одного вопроса, сколько зарабатывал рабочий и сколько с него вычитывали в виде штрафа. Цифры ясно говорят, что средний заработок рабочего равен 8—9 рублям, вычет же в среднем—два пятьдесят, до трех рублей. Можно ли было существовать на этот заработок? Я знаю,—скажут, что рабочие могли свободно уйти туда, где им лучше, а я скажу, что так могут говорить люди, которые или не знают жизни, или не хотят знать. Рабочий бессилен что-либо сделать, он вечно в долгу у хозяина... Хозяин бьет его не только рублем, но иногда и кнутом...». Долго говорил Плевако; публика была вся—внимание, и когда он кончил, чувствовалось, что много света пролила речь в эту темную полосу мрака.

Суд удалился на совещание. Через полчаса возвратился председатель и прочел приговор. Мы трое признаны виновными и приговариваемся к высшей мере наказания—к трем месяцам ареста при полиции и судебные издержки за круговой порукой. На публику приговор произвел удручающее впечатление. Казалось, что только один я остался спокойным. На меня приговор не произвел никакого впечатления

потому, что я знал, что ссылки мне не миновать. Плевако и Шубинский подошли к нам и сказали, что они хотят апеллировать к судебной палате. Я высказался против этого, так как считал, что это будет напрасная процедура, ссылки мне все равно не миновать. Плевако на мои слова гордо заявил: «Этого не будет». — Ну, хорошо, я согласен, чем черт не шутит, когда бог спит, если не мне, то моим товарищам, быть может, поможет, а это уже много будет и мы будем вам очень признательны... — На этом мы и кончили наш разговор, и нас повели обратно в тюрьму на старое место.

Через месяц был назначен суд с присяжными. Этот месяц показался нам дольше полугодового заключения, хотя режим несколько ослабили. Волков имел возможность заходить в мою камеру, и мы с ним подолгу беседовали о том, что даст нам суд с присяжными. Я всячески успокаивал его, доказывая, что этот суд оправдает всех, каков бы ни был его состав, с своей же стороны мы должны вывести на свежую воду все то, что происходило на фабрике. Со всех концов нам говорили, что нас оправдают; даже тюремный поп и владимирское общество тогдашнего времени в один голос твердили о том, что нас оправдают. Это нас подбадривало, и мы с нетерпением ждали суда.

Наконец, день суда настал. Мы с утра чистились, прихорашивались, наводили на себя красоту, словно готовились на свадьбу. В 9 часов нас позвали в контору, где нас уже ждал конвой. С нами пошел также один старик, который был причастен к этому делу.

Накануне суда наши защитники посетили нас; вместо Плевако приехал Холщевников, щегольски одетый молодой человек. Познакомили его с более существенными вопросами дела и выразили сожаление по поводу неприязда Федора Никифоровича Плевако. Холщевников нас успокоил, говоря, что все будет хорошо. Второй защитник Шубинский говорил, что дело не совсем хорошо. «Кто его знает, человек молодой, еще мало выступал, неизвестно, как поведет дело, а ведь все дело в вас двоих, если вас признают виновными, должны будут признать виновными и всех. Плохо сделал Федор Никифорович, что не приехал. Быть может, стоит суд

отложить?» Мы взмолились: — Ради бога, не делайте этого; Лучше суд, чем эта проклятая тюрьма.

Как только мы вышли из тюремных ворот, нас встретили товарищи, приехавшие с фабрики на суд. Конвой не подпускал их к нам. Мы шли посреди дороги, а по панели шли товарищи, время от времени передавая нам разные новости. Тут были и наши жены. В городе к нам присоединилась городская публика; образовалась порядочная толпа; некоторые порывались что-то передать нам. Так мы дошли до окружного суда. Такое отношение к нам нас радовало. Мы ясно видели, что народ на нашей стороне.

Нас ввели в арестанскую комнату, где мы уселись на полу отдохнуть. Волков говорит мне потихоньку: «Пойдука я в уборную и узнаю, что слышно». Старший отряжает двух конвойных, и Волкова уводят. Я начинаю расспрашивать конвойных: — откуда, кто, давно ли служат и т. д. Солдатики разговорились и поинтересовались, за что нас судят. Тут-то я начал им объяснять, за что судят мужика, когда он не хочет работать на помещика; за что судят рабочего, когда он требует, чтобы его не грабили. Если мужик не захотел работать на помещика, тот зовет урядника, который и заставляет мужика работать, а если мужик ослушается, то его ведут к земскому начальнику, а земский начальник тот же помещик, у которого также работает мужик, и бедного мужика заставляют работать. То же происходит и с рабочим: не захотели рабочие работать, сейчас же призывают солдат, казаков для расправы с ними. Вот нас полтора года продержали в тюрьме. «Так-то, братцы, мужику везде плохо: с мужика и подати, и рекрутчина, все с мужика, только мужику ничего...». В это время возвращается Волков и советует мне тоже выйти. Я спросился, и меня повели в уборную. Лишь только я показался, как меня окружили рабочие, здороваются, все так рады, что я еще жив. Шли слухи, что меня засадили в мешок и пропустили через мельницу так, чтобы и концов не найти. Один из товарищей вошел в уборную вместе со мной и принес полбутылки водки. Пить я не мог, но товарищ обиделся, так что мне волей-неволей пришлось выпить.

Холщевников ознакомился с нашим делом и надеется,

что все пойдет гладко, считая, что многое зависит от состава присяжных.

Через некоторое время нас повели в суд. Зал суда был переполнен публикой, все места и проходы были заняты. За председательским столом места тоже были все заняты, как на первом суде, отборной публикой.

При нашем появлении все рабочие встали и поклонились нам, мы со своей стороны тоже сделали поклон товарищам. Товарищи подсудимые уселись ниже нас. Публика в зал суда пускалась только по билетам, и несмотря на это зал был переполнен.

Суд начался. Читается список присяжных, потом неявившихся и т. п. Затем председатель предлагает сторонам сделать отвод из состава присяжных, для чего делается перерыв на 15 минут. Шубинский сообщает нам, что суд решил сделать отвод некоторым лицам, на что мы возражаем, указывая на одного присяжного поверенного. Суд продолжается. Происходит жеребьевка присяжных, потом привод к присяге и т. д. Описывать всего этого не стоит, всякий знает это. Проверка свидетелей, явившихся и не явившихся, и председатель задал вопрос сторонам: «может ли продолжаться суд без не явившихся свидетелей?». Прокурор заявляет, что не явившиеся свидетели для суда очень важны, а потому просит суд отложить. Защитники доказывают, что не явившиеся не представляют ничего важного, а в случае надобности можно прочесть их показания. Наконец, суд решает продолжать заседание. Приводом к присяге—православных к попу, а старообрядцев к председателю заканчивается первый день. Поздно вечером нас привели обратно в тюрьму. Товарищи провожали нас вплоть до тюрьмы.

Волкова не допустили провести ночь со мной, смотритель заупрямился, и мы разошлись по камерам. Надзиратель все время расспрашивал меня, как обстоит дело, пока я не попросил его оставить меня в покое.

На утро нас снова повели в суд; конвой был другой, но смотрел он на нас также снисходительно. На этот раз нас провожало много интеллигентной молодежи вплоть до суда; некоторые давали нам деньги, но я просил их вместо денег дать нам хороших книг через наших жен. Все обещали устроить, придя в суд.

В суде нам рассказали, как рабочие провожали Морозова из суда в гостиницу, где он остановился. Лишь только показался Морозов, как раздался оглушительный крик: «Грабитель, колдун, кровопийца, пей нашу кровь!». Свист, гам извозчику не давали ходу. «Ишь, толстопузый чорт, извозчика ему надо, награбил, теперь потрясут тебя, небось карман полегчает» и т. д. «Мы ему еще не то устроим, будет знать»... На рассказы рабочих я сказал им, что все пройдет и снова Морозов начнет проделывать свои штучки, а для того, чтобы этого не случилось, надо держать ухо востро, не давать накинуть на себя хомут.

Суд начался чтением обвинительного акта. Секретарь читал монотонно, возвысив голос лишь тогда, когда дошел до места, где говорилось, что я в Петербурге был арестован с кинжалом и был административно сослан в Сибирь. После этого начался опрос подсудимых, признают ли они себя виновными, на что последовал ответ—нет. Во время перерыва мы отправились в свою камеру, где пообедали и даже конвой накормили. Я вышел в уборную, где меня ждал Лука и брат, которых я просил передать всем свидетелям быть как можно смелее и рассказывать все, о чем бы их ни спрашивали.

Первым допрашивался следователь, который начал с того, что он будет давать показание не как следователь, а как свидетель того, что он видел и знает по этому делу.

«Мне, как следователю, пришлось первому приехать на фабрику, где я увидел картину стихийного гнева народа, не поддающегося описанию. Здесь, на скамье подсудимых сидят Моисеенко и Волков, как руководители стачки, но эти руководители не разрушали, а защищали от разрушения, они уговаривали народ не делать этого, но накопившаяся злоба народа за гнет и попрание человеческих прав фабрикантом сделала то, что мы видим теперь. Я убежден, что ни Моисеенко, ни Волков не виновны в этом деле,—виновата администрация фабрики». Потом он подробно рассказал, до каких геркулесовых размеров доходила эксплуатация на фабрике, и т. д. Закончил он следующими словами: «Нужно удивляться не тому, что произошло, а тому, как это мог народ терпеть до сего времени, вот это меня удивляет...»

Председатель предложил сторонам задавать вопросы, на что последовал отказ. Тогда поднимаюсь я и задаю свидетелю вопрос, известно ли ему, что фабрика Саввы Морозова находится по соседству с фабрикой Викулы Морозова, и были ли какие-либо разрушения у последнего. Свидетель извиняется, что упустил из виду тот факт, что, несмотря на все то, что произошло у Саввы Морозова, у Викулы Морозова не было тронуту, что называется, ни одной щепки, что он поражается такому отношению народа к чужому добру.

Во время перерыва входит Шубинский с поздравлением. Для него было неожиданностью выступление следователя. «Нам будет теперь уже легче, но все же я просил бы вас подать заявление в суд, что у вас нет защитника, что вы просите суд разрешить вам защиту. Ведь вся суть процесса в вас двоих, а потому все внимание мы должны обратить на то, чтобы вас оправдали; оправдают вас — оправдают и всех. Мы согласились просить суд, помимо Холщевникова, допустить и Шубинского. Во время заседания суда мы заявили председателю, что желаем допустить для защиты нас, т.-е. меня и Волкова, еще и Шубинского, кроме Холщевникова. Суд тут же разрешил.

Продолжается допрос свидетелей, вызывается директор Дианов, который, конечно, начал оправдывать себя и хозяина, говоря, что вот он, мол, поступил на фабрику Морозова мальчиком при конторе, а теперь директором стал. Защитник Шубинский спрашивает, не состоит ли свидетель компаньоном Морозова, на что получает ответ: — да. «Скажите, кем было дано распоряжение поставить у дверей стражу 7 января?» — Стража бы поставлена потому, что нам было сообщено одним рабочим, что ткачи хотят забастовать и решили остановить рабочих и не пускать на фабрику. — «А для чего стража ваша была вооружена?» — Боялись, что рабочие учинять бунт. — «Значит, вы знали и хотели помешать собраться рабочим?» — Да. Защитник садится. И встаю и спрашиваю свидетеля: «По чьему распоряжению штрафовали?» — Это зависело от хозяина. — «Вы же тоже компаньон, без вашего согласия хозяин один не мог этого сделать». — Ему было предоставлено особое право на это. — «А вы его утверждали?» — Да, мы делали то, что находили нужным.

Теперь трудно воспроизвести все то, что происходило на суде, но мне хорошо помнится, что председатель меня останавливал несколько раз при допросе Дианова; при допросе свидетелей доходило до того, что председатель грозил вывести меня из зала суда. Шубинский отказался продолжать защиту. Получился скандал, пришлось сделать перерыв. Скандал уладил Муравьев. Мы сидели в своей камере и недоумевали, когда вошел Шубинский и объявил нам, что конфликт улажен и мы будем продолжать.

И потянулся суд... Бывали иногда и комичные моменты, в особенности при допросе Саввы Морозова. Жалко было смотреть на эту фигуру, когда-то столь грозную, а теперь сжившуюся, пришибленную, отвечающую незнакомцу. Вот случай: когда кончился допрос, Морозов, весь красный, как рак, пошел в залу и хотел уже сесть на свободное место, но, увидев сидящую женщину — ткачиху, бросился от нее стремглав в сторону, споткнулся и упал. В зале поднялся смех...

Интересен сам по себе был допрос тов. Луки Ивановича. Прокурор все время налегал на его переписку с Кановкиным и Апельбергом. Защита протестовала против такого допроса, а Лука Иванович отказывался отвечать на вопросы, не относящиеся к делу. После допроса нескольких свидетелей — ткачей, которые показывали, что штрафовали ни за что, ни про что, а так, за здорово живешь, я попросил вызвать Морозова для пояснения, так ли было, что писали штраф ни за что, ни про что. Вызвали Морозова. Я спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, за что писались штрафы?» — Писались за порчу. — Я прошу предъявить Морозову заработные книжки, в которых записывался штраф, а защиту — обратить внимание на то, за что написан штраф. Защита ухватила за это. Что ни строка, то перл — штраф 50 коп., за что — объяснить никто не может, и даже сам Морозов. Во всех книгах стояла одна буква «Б» и больше ничего. Вот тут-то и началась перестрелка между защитой, с одной стороны, и председателем и прокурором — с другой. Председатель старался выгородить Морозова, а защита уцепилась, как клещ, и не выпускала своей добычи. Довели до того, что Морозов попросил на время освободить его от показаний, что суд, конечно, исполнил.

Во время перерыва брат мне говорит, что его Дианов спрашивал, где я учился, на что он ответил, что нигде, но директор не поверил, он убежден, что я из студентов.

Не могу умолчать о допросе мастера Шорина, правой руки Морозова. Этот холоп начал взваливать всю вину на своего благодетеля, оправдывая себя с документами на руках. Шорин говорил, что хозяин его бомбардировал письмами и телеграммами—штрафовать, как можно больше. Шорин тоже знал, что готовится стачка, но вся администрация вкупе не придавала этому значения, рассчитывая, что все это кончится ничем. На вопрос, заданный мною, почему разгромили его квартиру, а не другого, Шорин отвечал, так как все думали, что он своевольно пишет штрафы *).

Этот процесс показал, в каких условиях находились рабочие, и как им приходилось жить...

На пятый день процесса начались прения сторон. Речь прокурора была непродолжительна и почти вся сводилась к обвинению меня, приводя в доказательство переписку с Сибирью, в особенности, с Апельбергом, Кановкиным (Каняевым?). После говорил Шубинский, который был защитником более двадцати обвиняемых. Говорил он очень долго, но нельзя сказать, чтобы речь его была блестяща, напротив, как мне показалось, очень слабовата. Речь Холщевникова была сильней и содержательней. Он громил весь порядок существующего строя, не хныкал, как Шубинский, он признавал, что сделано великое дело, которое у нас пока называется преступлением. Преступниками оказались те, кто защищал свои погрязшие права, а не тот, кто нарушил эти

*). Из расспросов свидетеля Шорина Шубинским видно, что штрафов с рабочих собиралось до 20.000 руб. в год. Штраф с работы шел в пользу кассы правления, а за курение и за имение водки—на помощь увечным...».

«...Штраф у некоторых рабочих равнялся 50% с жалованья, возвышаясь от 30%. Когда штрафы достигали 50%, или рабочих заставляли брать расчет, а потом как бы вновь поступали на фабрику, или выдавались новые книжки, и таким образом могущее быть доказательство непомерных штрафов, старые расчетные книжки, исчезали бесследно».

«...Иногда Морозов проверял на таблицах принятую работу и, сверяя штрафы, он говорил: «мало... прогону» браковщикам. Материал за последнее время выдавался хуже прежнего, а вес, длина куска и ширина требовалась та же. С хороших рабочих тоже брались штрафы, равнявшиеся приблизительно 15%. («Русские Ведомости» № 141, 1886 г.)

права. «Перед нами прошел ряд свидетелей,—говорил Холщевников,—которые выяснили, какой кошмар царил на фабрике, где пришлось работать Моисеенко и Волкову; могли ли они быть безучастны к нуждам своих братьев рабочих? Я скажу, что нет. Да и никто из нас не вытерпел бы этого... Что касается Моисеенко, я должен сказать господам присяжным заседателям, чем руководился Моисеенко в своих выступлениях, кроме братской любви и желания помочь людям?—Ничем. Доказательством этого служит тот факт, что как только он вернулся из сибирской ссылки, куда он был сослан за стачку, здесь у Морозова он начинает борьбу не на жизнь, а на смерть, не щадя себя. Вы видите, что человек не мог равнодушно смотреть на слезы близких ему людей и боролся за их интересы. История его не забудет, как борца за великое народное дело... Волков, как рабочий, по чужд был того же направления, и он всецело примкнул к Моисеенко, видя в нем спасение. Если осудить Волкова и Моисеенко—значит осудить весь рабочий класс всей России, а поэтому я настаиваю на их полном оправдании...».

После Холщевникова говорил также бывший товарищ прокурора, который подробно останавливался на разгроме продовольственного магазина, указывая на то, что среди подсудимых почти нет рабочих фабрики Морозова, а большинство из Орехова и Зуева; толкаемые голодом на погром, все эти, бывшие когда-то морозовские рабочие, выразили весь гнев и ненависть к Морозову...

После защиты прокурор подал несколько реплик по адресу защиты, потом председатель сделал свое резюме, и присяжные удалились в совещательную комнату, а мы отправились в арестантскую ждать своей участи; хотя нам было известно, что за оправдание девять присяжных, все же нас брало сомнение.

Совещание затянулось, и нам пришлось ждать порядочно. Наконец, нас пригласили в суд. Публика была вся на местах. Старшина начал читать протокол. Первый—Моисеенко по таким то статьям не виновен, потом Волков, словом, всех признали невиновными. Вдох облегчения пронесся по залу, начались поздравления; первыми пожала нам руки защита, потом студенческая молодежь, рабочие и т. д. Но

не долго была наша радость, — возвратился суд и объявил свое решение: Моисеенко и Волкова оставить под стражей, впредь до решения судебной палаты, куда подана кассация на приговор коронного суда, остальных освободить. Защита тут же заявила, что берет нас на поруки, но суд на это не дал своего согласия, заявив, что освободить нас может только в том случае, если получится на то постановление судебной палаты. Поздно ночью вернулись мы в тюрьму.

Через неделю получаем из судебной палаты приказ освободить нас. Одновременно был получен приказ министра внутренних дел об удержании нас впредь до особого разрешения. Мой расчет оказался верным — нас сошлют административным порядком. На другой день получаем известие, что прокурор хочет опротестовать приговор.

Волков мой начал падать духом, и я попросил смотрителя поместить его ко мне в камеру, что смотритель разрешил. И вот мы принялись горячо за чтение «Политической экономики» Милля, чтобы тем избавиться от скуки. Студенты сдержали свое слово и снабжали нас книгами. После суда нам пришлось просидеть до октября. Только в октябре получилось решение выслать нас административным порядком — меня в Архангельскую губ., а Волкова в Вологодскую на три года. Нам оставалось ждать этапа и подать заявление о желании наших жен ехать с нами. Все уладили, и готовы были к отправке.

Настал день отъезда. Нас вывели во двор, надели наручники, и мы вышли на простор. Нашим женам приказали ехать за нами. В полицейском управлении вынесли постатейный список для наших жен, и мы направились на станцию. При посадке нашей партии в вагоны произошел скандал: сопровождавший партию офицер не хотел принять вещей, пришлось с ним ругаться.

Был уже вечер, вагон был полон арестованными; как разместились, жен наших посадили в женское отделение, их мы не видели до Москвы. До Бутырьской тюрьмы мы шли с женами, где нас опять разъединили: их повели в пугачевскую башню, а нас — в северную. Там, где нас поместили, оказался знакомый надзиратель, с которым у нас

завязалась маленькая дружба. Благодаря ему, мы могли сноситься с нашими женами.

В Москве нам пришлось просидеть с неделю, дожидаясь этапа на Ярославль. Предварительно нас тщательно обыскали, забрали табак, спички, бумагу, повели на Троицкий (?) вокзал и отправили на Ярославль. В Ярославле нас повели в тюрьму, посадили в одиночку. Ярославская тюрьма производит удручающее впечатление своей мрачностью. Хорошо, что не долго пришлось просидеть в ней. Скоро нас отправили дальше. В Вологде Волкову пришлось обратиться к доктору, туберкулез усиливался, и надо было подумать о лечении. Но тюрьма не может дать лечения, а сидеть ему пришлось с месяц, пока вышло назначение ехать в Усть-Сысольск. Мне пришлось просидеть в Вологде около двух недель, пока собрался этап на Архангельск. Здесь я распрощался с Волковым, и распростился, как оказалось, навсегда...

Дорога от Вологды до Архангельска продолжалась 52 дня. Останавливались в Белозерске, Кириллове, где тамошний доктор, узнав, кто мы, предложил нам подводу, ужин и два рубля. Зима, холод стояли в то время, а дорогу приходилось совершать пешком. Порционных выдавалось 10 коп. в сутки; мы покупали на них кто треску, кто пикшу, кто сайду, посылая конвойного покупать как для себя, так и для нас. В Каргополе меня встретили два товарища, помню фамилия одного была Левин, другого я не вспомню. Они дали мне табак, спичек, бумаги, рассказали, кто находится в Холмогорах, вышли меня провожать и даже принесли бутылку водки, которую мы и распили тут же в саних. Вот каково было товарищеское отношение между ссыльными!..

В Холмогорах нас встретили товарищи-ссыльные, все так же бодрые. Они мне рассказали, кто где находится и принесли нам очень вкусный обед. По газетам они знали о нашем процессе и думали встретить великана, а встретили пигмея — человека небольшого роста, угреватого, но плотно сложенного — грудь колесом, голос чистый, даже позавидовали моему здоровью, несмотря на то, что я перенес уже не одну ссылку. Я был рад, что нахожусь среди своих, и во мне

загорелось еще больше энергии работать за народное дело, все мои помыслы были устремлены в будущее...

Через два дня мы прибыли в Архангельскую тюрьму, где нас поверхностно обыскали; меня посадили в общую камеру с уголовными, а жену—в женское отделение. В конторе мне предложили подать заявление губернатору, чтобы меня освободили из тюрьмы и я мог бы жить под надзором полиции до дальнейшей отправки. Я так и сделал, и через неделю меня выпустили из тюрьмы. Мы разыскали с женою квартиру за 1½ рубля в месяц и поселились в ней. Я сейчас же написал письмо в Холмогоры, чтобы дали адрес ссыльных в Архангельске. Оттуда прислали письмо прямо тов. Ташакову, который явился ко мне с одним товарищем. Оказалось, что мы с ним старые знакомые по Петербургу, вместе участвовали в Казанской демонстрации, и звали его Ушаковым. Здесь меня перезнакомили со всеми товарищами, находящимися в Архангельске.

В Архангельске пришлось прожить с месяц. Тов. Ташаков имел переплетную мастерскую, в которой работали на артельных началах. Переплетная была обставлена очень хорошо и давала хороший заработок. Быстро пролетел месяц. Накануне мне объявили, что меня отправят в город Мезень. Товарищи снабдили меня литературой и всем необходимым, и мы двинулись в путь-дорогу. В Холмогорах опять встреча с ссыльными товарищами. Я уже знал, кто направляется в Пинегу, кто в Мезень. От Архангельска до Мезени зимой двадцать три дня пешего пути, а летом, кажется, дней сорок.

В Пинеге нас встретила вся колония ссыльных. Жену мою они взяли к себе, хотя исправник и намеревался оставить жену при полиции. Отношение товарищей было очень хорошее. Все были знакомы с ходом процесса, в особенности с выходкой «Московских Ведомостей», блаженной памяти, Каткова... Последний метал гром и молнию на суд присяжных за оправдание такого завзятого преступника, как Моисеенко и т. д. На завтра утром мы уселись в сани и тронулись в дальнейший путь. Товарищи проводили нас за город. Мороз был порядочный, пришлось упрашивать их вернуться, и мы распростились.

В Мезени попали прямо в полицию; пришли двое товарищей, их только и было:—Кравченко, Петр Самсонович, петровец (был сослан по делу Лопатина) и Щепицын, Александр Николаевич, студент петербургского университета. Мы, не снимая вещей с подводы, после некоторой процедуры отправились к ним на квартиру. Жили они вместе. Я начал спрашивать их, чем они занимаются, можно ли найти работу и т. д. Они, оказывается, обучались столярному ремеслу, так как другой работы нет. Платят за ученье полтора рубля в месяц, и за два месяца они сделали себе стол, заводятся инструментом, выписали по столярному делу руководитель и т. д. За разговором время прошло незаметно и мы заночевали у них. Утром проснулись поздно. Хозяйка давно уже приготовила самовар, принесла бубликов, уселись за чай. Говорили о том, что надо подыскать квартиру, сходить в мастерскую, закончить стол и принести его сюда. Так и сделали.

В мастерской работал один старик, отец столяра, который осаживал шерхебель для товарищей. Я осмотрел стол и сказал, что остается только зачистить, и стол готов. Подали мне рубанок, двойник, и я принялся за работу. В это время приходит мастер и, присмотревшись к моей работе, спрашивает: «Где вы работали?» Отвечаю, что нигде не работал; а вот отец мой плотник, у него то я и присмотрелся.—«Как, вы политический, а отец ваш плотник?»—с удивлением спрашивает мастер.—Да, мы—крестьяне, не все политические—дворяне, есть и крестьяне, и очень много. А крестьянин должен уметь работать для своего хозяйства.—Мастер говорит: «может быть вы поступите ко мне работать?»—Почему не так, можно.—Я зачистил стол, взял его на голову и понес на квартиру. Тут новое удивление—несу стол на голове, придерживая рукой. Я объяснил товарищам, что ведь я был в ученье в Петровско-Разумовском у Филатова, на Выселках, при бакалейной лавке, и там приходилось таскать на голове тяжести. Петр Самсонович, как петровец, заинтересовался, кого я там знавал из студентов. Я говорю, что знавал Новодверского Ивана, которого учил Печасев. И начались общие воспоминания о тех временах, о Короленько. Я им рассказал, когда мы расста-

лись с Короленко и как он попал в Якутку. Поделившись своими воспоминаниями, все трое пошли искать квартиру. Нашли комнату с русской печкой, поладили, и я перешел на постоянное жительство.

Вечером собрались. Начали обсуждать вопрос, как будет дальше: поступать ли мне к столяру или искать другой какой-либо работы? П. С. Кравченко предложил мне не искать никакой работы, а, просто-напросто, заняться работой на дому, самостоятельно. Я говорю, что в столярном деле ничего не понимаю, и не мешало бы поработать у мастера. «Пустяки,—говорит Щепицын,—у нас есть руководство, мало будет—еще выпишем. Инструмент и верстаки сделаем, лесу нам дадут сколько угодно с Русановского завода, стоит лишь послать. Директор там англичанин, который обещал нам лесу, какой потребуется и сколько угодно, а насчет инструмента, то таковой пришлют нам через неделю из Петербурга. Я сегодня же напишу брату, как раз завтра отправляется почта». Я согласился с ним. Тогда П. С. внес новое предложение: «нельзя ли сделать так, чтобы Сазоновна (моя жена) готовила на нас, а мы приносили бы ей продукты, это будет удобнее и не дороже того, что мы платим за стол. Петр Анисимович будет получать 12 рублей в месяц, а остальное мы берем на себя. Ну, как вы думаете?» Щепицын был в затруднении, так как не было посуды. Но при условии приобретения посуды и согласия Сазоновны (жена моя согласилась), он присоединился к этому предложению. Мы закурили трубку мира и закричали ура. Расстались мы поздно вечером. На утро Петр Самсонович притащил кастрюли, тарелки, ножи, вилки, мясо, капусту, картофеля, даже конфет. (Петр Самсонович имел слабость к сладкому). Так началась наша коммуна и, чем дальше, тем все прочнее устанавливались наши отношения.

Я с обычной мне энергией принялся за работу: строгал, пилил. Лесу мне привезли целый воз. Я взялся за верстак и быстро его окончил, только заднюю коробку не мог сделать без указания. У нас был знакомый столяр, к которому я и обратился. Он пришел и показал, как она устанавливается и подивился моему искусству (я никогда

не работал, и эту вещь сделал в первый раз, а такую работу не всякий плотник сделает).

Первое время мы работали для своих нужд, кому что пришлось: кому полочка, кому шкатулочка. Александр Николаевич Щепицын увлекся полировкой. Мы с Самсоновичем работали пока белую работу, чтобы приобрести навык владеть инструментом. Успехи наши были поразительные. Знакомый наш столяр удивлялся. Иногда он показывал мне, как размечать, как расчерчивать. Я все это принимал к сведению. Появились заказы. Цены мы назначали небольшие, но заказчики набавляли нам цены сами за чистоту работы. Это нас радовало, и мы не чувствовали усталости. Я видел в своем труде источник спасения от всех скорбей и скорбционных. Я так рассуждал: после ссылки мне не придется идти на фабрику, едва ли примут на работу после морозовской забастовки, столяром же всюду можно будет работать. Мои товарищи, глядя на меня, тоже увлекались работой, и работа у нас кипела.

Однако, мы не забывали и просвещения: читали совместно, когда получалась почта — журналы, где помещались статьи Южакова, Михайловского, Короленко, Пешехонова и т. д. К нам приходили местные учителя, учительницы, дочь исправника. По вечерам обыкновенно Петр Самсонович брал скрипку и начиналось пение. Пели: «Ночевала тучка золотая», или «На севере диком», а тогда, когда не было дочери исправника, пели и революционные песни, в особенности хорошо пел Щепицын: «Потом на площади Соборной, в столице русского царя, земли и воли флаг узорный завился шестого декабря». Не дурно пели марсельезу. Я с женой пели «Ткачей» и «Утес Разина».

Весной было плохо. Почты не было недели по три, по четыре. Река Мезень вскрывается в первых числах июня. Мезень — городишко с населением меньше тысячи жителей. Город тундры. Продукты идут из Архангельска, кроме рыбы, ничего местного нет. Приходилось есть рыбу, дичь, оленье мясо, морошку. Так как капусты и картофеля не было, то и сидели иногда на одном перловом супу. Весной из-под снега появляется хорошая клюква, из которой варили кисель. Вечерами устраивали прогулки в лес, играли в мяч.

Сазоновна стирала на нас, чинила нам белье. В деньгах мы не нуждались, кредит нам был открыт всюду.

В 1887 г. прибыл к нам товарищ Александр Серафимович Попов, студент петербургского университета, донской казак. Он внес в нашу семью еще больше сплочения и солидарности и, одоблив наше занятие, принялся и сам с увлечением за работу.

В конце июля мы начали готовиться к сенокосу. Наладили косы и отправились я, жена и Петр Самсонович косить. Мы с женой хорошо косили, а Петра Самсоновича пришлось учить. Косили мы для нашей поставщицы мяса, которая была замечательной женщиной. Она любила политических ссыльных, ссужала их деньгами, товаром, всем, чем только могла; никогда не просила долга, а, напротив, сама всегда еще спросит, есть ли у нас деньги, предложит взять, если нужно. Мы не злоупотребляли ее доверием, а, напротив, старались платить ей как можно чаще. Вот этой женщине мы и собрались помочь, насколько можно.

К сожалению, долго мне не пришлось косить, так как пришло предписание посадить меня под арест при полиции на три месяца, к которому я был приговорен коронным судом. Пришлось сесть. Я попросил исправника поставить в камере небольшой верстак, чтобы не сидеть без дела. Исправник разрешил, и я устроился, как дома. Товарищи и жена посещали меня ежедневно, носили мне пищу, инструмент для точки, косы налаживать. Приходила и местная публика с различными просьбами. Однажды приходят рано, приносят обед.

— Что так рано?

«Едем на маевку».

— Ну, хорошо, привезите ягод, наберите грибов, а потом расскажите, как вы праздновали.

Вечером вваливаются ко мне всей гурьбой, хохочут.

— В чем дело?

«Да как же, тебе рассказать и ты будешь хохотать».

— Да говорите, что случилось?

Начинают рассказывать, как донской казак с мезенской кобылы упал. Дело было так. Задумали согреть чаю; нужно было принести воды. Серафимович вызвался съездить. Вот он

сел верхом, взяв чайники, только тронул—чайники загремели, кобыла испугалась и стала бить задом. Серафимович не удержался и полетел с кобылы, а чайники—в сторону. Кобыла ушла в лес. Поднялся хохот, а Серафимович, очень застенчивый от природы, был страшно сконфужен перед дамами. Это так на него подействовало, что он растерялся и не знал, что ему делать. Выручила Сазоновна: она привела кобылу, принесла воды, разложила костер. Серафимович долго не мог успокоиться, все удивляясь тому, что он упал. Просидели у меня до темноты. Смех, шутки не прекращались.

Время моего ареста в общем проходило незаметно; мне не было особенно плохо, но все же брала досада, что люди развлекаются, а я принужден сидеть.

7-го августа они снова поехали на лодке по ту сторону реки смотреть затмение солнца. Их подхватило приливом и понесло вверх по течению, еле прибились к берегу. Высадились и стали ждать затмения солнца, которого им, однако, не удалось увидеть, так как стоял туман такой, что противоположного берега не было видно. Когда сели в лодку—их понесло вниз, потому что начался отлив. На поверхности воды показались зверь, заяц или тюлень—ребята трусили, как бы их не занесло в море, и начали усиленно грести к берегу. Попали в вязку, т.-е. в грязь, из которой одна выбрались, выпачкались, как чучела гороховые. Пришли ко мне поздно, и рассказали свои приключения.

Из-под ареста я вышел в октябре, когда стояла уже зима. Только я вышел из-под ареста, как из Архангельска приехали жандармский ротмистр и следователь, и меня повели к исправнику. Вот прихожу, меня приглашают в кабинет.

«Вы Моисеенко?»

— Да, я, что вам угодно?

«Именем закона мы должны сделать у вас обыск, идёте к вам на квартиру».

Обыск был произведен, но ничего не нашли. Составили протокол. После их ухода я удивлялся, как это они не могли догадаться, рассматривая кусок сплавленного желатина? Вероятно они сочли его за мыло. Затем, они не нашли спрятавшихся за картиной прокламаций. Они искали переписку, пе-

рерыли все бумаги. Вечером зовут опять к исправнику. Начинается допрос. На вопрос, с кем я переписываюсь, отвечаю, что со многими, например—родными. И далее: есть ли у меня во Владимире родные? Я отвечаю, что совершенно никого нет. После этого меня заставляют писать крупно и мелко, и я пишу, будучи совершенно уверен, что моих писем нет. Написали протокол, подписали, и делу конец. Больше никого из нас не трогали.

Мы взялись за работу. Но не долго нам пришлось работать. Щепицын подал прошение о переводе его в другой город. Разрешение пришло, с условием ехать на свой счет с провожатым. Проводили мы Александра Николаевича Щепицына. Жаль было расставаться с таким товарищем. Утешало лишь то, что встретимся в лучших условиях, когда восторжествует революция. Мы верили, что она придет, желанная, и свергнет иго самодержавия. В то время, не разбираясь совсем в этих вопросах, виновником всего мы считали только самодержавие. В Мезени этот вопрос начал обсуждаться только с приездом Серафимовича, который во время дебатов затрагивал его. Я всегда наводил речь на капиталистический гнет, на что мне возражали, говоря, что у нас нет капитализма. Я тогда всецело верил интеллигенции, да оно и понятно: сколько тогда было нас,—раз—два, да и обчелся. Вся ссылка была заполнена учащейся молодежью.

Петра Самсоновича Кравченко потребовали на военную службу. Мы простились и с ним. Остались жена, я и Серафимович. Вскоре приехал к нам Редько Петр, студент технологического института.

Еще совсем молодой, мало приспособившийся к подпольной работе, он попал по делу флотских офицеров с сыном Шелгунова, который впоследствии подал прошение на высочайшее имя о помиловании. Брат его, Александр, сослан был в Сибирь. Вскоре из Пинеги перевели к нам товарища Тихомирова, и нас опять собралась компания. Но уже не то, что было...

В январе 1888 года у меня родилась дочь. Ухаживать за нами было некому. Пришлось все делать самому. Купать ребенка приходила жена учителя Балиева. Забот был полон рот. Молодежь не принималась за работу. Пока работали мы

с Серафимовичем. Надо было покончить с заказами; я напрягал все силы. Для ребенка надо было сделать кроватку. К этому времени мы уже сделали себе токарный станок.

Жена пролежала в постели дней десять. Готовили пищу сами с Серафимовичем, а тут еще отчаянное безденежье. Пришлось залезть в долги по самые уши. Вся надежда была, что отработаем, и, действительно, мы отработали. Ребенок оставался некрещенным. Дней пятнадцать местная публика поговаривала, что студенты бога не признают. Пришлось с этим считаться. Пригласили попа; кумом был Серафимович, а кумой Балиева.

За близкое знакомство учителя Балиева с политическими ему предложили подать в отставку. Что тут делать, как быть?—человек он семейный. Судили, рядили, написали по все концы и решили, что Ия Васильевна Балиева, жена учителя, поедет в Петербург и поступит на акушерские курсы, а сам Балиев поедет в Архангельск, где поработает пока. Ехать решили весной пароходом по Белому морю. Серафимович подал тоже прошение о переводе его в Архангельск для лечения глаз. Приходилось ждать только до весны. Ию Васильевну отправили на подводах в Питер.

Из деревни перевелся к нам Гуревич. Колония наша пополнялась, но внутренней спайки не было, хотя коммуна, как таковая, продолжала существовать. С отъездом Серафимовича работать приходилось почти мне одному, Тихомиров и Редько совершенно бросили работать, а Гуревич занялся починкой часов. Средства наши истощились, ждали только получения одежных, чтобы расплатиться с долгами. Из Архангельска Серафимович переселился в Пинегу. Мне писали, чтобы я подал прошение о переводе меня туда же. Это пришлось сделать в 1889 году. В январе подал губернатору прошение, мотивируя тем, что мне в этом году кончается срок и что легче будет выехать водным путем. Ответ губернатора получился как раз в марте. В последних числах марта я взяв подводу, усадил жену с дочерью. Товарищи все вышли провожать меня. Так я распрощался с Мезенью.

Через два дня мы были в Пинеге. Квартира для меня уже была приготовлена. Меня встретил Серафимович, Машинский, Захарова. Мы с Серафимовичем завели мастерскую;

работа у нас закипела. Сначала заказы были небольшие, но потом они стали все увеличиваться. Желающие ознакомиться ближе с ссылкой, прочтите рассказ Серафимовича «У холодного моря», где он мастерски обрисовал нашу жизнь. Мне пришлось читать этот рассказ в журнале «Современный Вестник».

Лето 1889 года прошло среди близких и дорогих товарищей, забыть которых невозможно. У нас не было частной собственности, все было общее. Те, которые не желали этого, отходили в сторону. С этим и воевала Машицкая. Всех таких она пилила за их эгоизм. Машицкая была одна из неутомимых борцов...

Это было переходное время от народничества к марксизму. Мы с большим усердием читали первый том «Капитала» Маркса и произведения Лассалю. У меня был первый том «Капитала», подарок П. С. Кравченке, потом я получил от Короленко, все то, что вышло из-под его пера. Серафимович принялся штудировать Короленку. Помню первый рассказ Серафимовича, переписанный Машицкой. Однако, этому рассказу не удалось увидеть света. Написан был второй рассказ, который появился в «Русских Ведомостях», и за который получили гонорар в 50 руб. О, какими богачами мы считали себя!

Машицкий и Машицкая вскоре получили разрешение выехать в Шенкурск, и наша колония поубавилась. Из села прибыл Иванов и учительница, фамилии которой я не помню. Я готовился вскоре покинуть этот край. По этому поводу велась уже переписка с т. т. Поповым и Гофманом, которые жили в Челябинском уезде, и имели сельскохозяйственную заимку. Вот мы и решили, что я буду работать с Поповым и Гофманом, как знающий сельское хозяйство и столярное ремесло. Рисковать попасть куда-либо нашли неподходящим. Переписка привела к тому, что я еду в Челябинск, а там, что будет...

Ребенок мой был здоровый, так что путешествие меня не пугало. Я всецело отдавался общественной работе. Таким образом мы постепенно готовились к отъезду. Каждый день учитывался. Мы торопились покончить с заказами, так как один Серафимович не мог сладить, да к тому же надо

было подвести счета, узнать, какими ресурсами я могу располагать в дороге. Мы собирали последние гроши, в кредит залезать опасались, так как у нас не было уверенности, что мы расплатимся. Пришлось отказаться от некоторых предложений, зная, что в срок внести не можем.

В Нижнем я рассчитывал увидеть Короленку, а в Ярославле обещали тоже дать письма. На этом основании я решил, что беспокоиться нечего, а надо действовать. Мы с Серафимовичем привели все в порядок. Надо было подумать, каким путем ехать: на лошадях до устья, или нанять лодку и тоже до устья. Я стал наводить справки. Оказалось, что лодка будет стоить дешевле. В попутчики к нам напросился один из уголовных евреев. Пришлось увязать свои пожитки и распрощаться с дорогими товарищами в надежде, что встретимся, когда будет свергнуто ненавистное царское правительство... Особенно Серафимовичу было тяжело расставаться с его любимой крестницей, т. е. моей дочерью. Эта девочка была для всех нас утешением. Мы инстинктивно чувствовали, что все принадлежит молодежи. Мы обрекали себя на служение будущему. Теперь трудно понять, какие это были чувства.

4. Революционные скитания 1888—1893 гг., арест и ссылка.

Расставаясь, мы как будто теряли что-то такое дорогое, чего словами не скажешь. Дух наш окрыляло одно желание—работать, пока хватит сил.

Плыть нам пришлось день и ночь, и только утром мы прибыли в устье. Что это за чудные места дикого севера! Какие еще нетронутые богатства по этим берегам! Суровая природа, как будто, оберегает эти богатства от хищных взоров человека.

В устье нам пришлось ждать парохода из Архангельска. Лето было сухое, ходили только небольшие пароходы. Нам сообщили, что пароход не дойдет до Устюга по случаю обмеления. Пришлось покориться. Едем день, другой, чем выше, тем труднее. Пароход наш подвигался, местами доставая дно, скрипел по камням, а то и совсем останавливался. С горем пополам добрались мы в третьи сутки до Березников, где пароход наш окончательно стал. Нас высадили на берег. На утро пришлось нанимать лошадей до Устюга (60 верст). Пока ходили нанимать лошадей, мне пришлось пересушить книги, которые были подмочены во время переезда в лодке. Погода была теплая, хорошая. Когда подъехали подводы, все усаелись и отправились в путь...

В Устюг приехали под вечер, и остановились на постоялом дворе. Всю дорогу ребенок чувствовал себя хорошо. В Устюге мне пришлось прожить больше недели. Река Сухона обмелела до того, что даже маленькие пароходики не могли подняться вверх. На перекатах приходилось ждать, пока какая-либо

шняга пойдет вверх. В это время ребенок заболел. Пришлось обратиться в земскую больницу, где доктор нашел, что ничего серьезного нет. Он дал лекарства, и девочка скоро оправилась. Узнав, что снаряжают шнягу в Вологду, пришлось помириться и взять место в шняге. За шнягой была причалена большая лодка, в которую мы сложили свои пожитки. Усадили жену с дочкой, остальные пассажиры разместились в шняге. Часов в 10 утра пришел лоцман и привел пару лошадей, которые должны были тянуть лодку вверх. По обычаю устюжан, мы все помолились и тронулись в путь. На первом же перекате пришлось всем пассажирам сойти на берег, опасаясь, как бы шняга не засела на мели. Лоцман управлял искусно, и шняга наша прошла. На шняге было человек 16 учащихся из Устюжского духовного училища, едущих в Вологду в семинарию, все—дети очень бедных родителей, с очень ограниченными средствами, их звали водохлебами. Первые дни нашего путешествия они питались запасами, взятыми из дому, а затем, действительно, чуть ли не на одной воде жили. В прибрежных деревнях, где приходилось останавливаться, они обходили всю деревню, где бы что-нибудь выпросить; забитые, неразвитые, ну, настоящие помяловские бурсаки. А плыть нам пришлось две недели, натерпелись вдоволь. Некоторым из них предлагали читать Тургенева, Короленко и др.,—брали, но читали неохотно, мотивируя тем, что это им строго воспрещается. Одно желание у всех—поскорее поступить хоть псаломщиком, лишь бы быть при деле.

Когда мы остановились на берегу Сухоны, вид был замечательный. На далекое пространство было видно 12 сел, и все эти села бурсакам были известны по названию и даже некоторые знали, кто там служит, называли попов, дьяконов и т. д. Быть попом для них было великим счастьем,—дальше этого никто не задумывался... Религия для них—доходное дело и больше ничего,—другие вопросы их не затрагивали. Прочна суровая среда!.. Меня поразило такое топоумие в духовных училищах; невольно пришлось задуматься: что же можно ожидать от этих будущих батюшек, кроме обирательства и надувательства своих прихожан?

К вечеру наша шняга причалила. Мы начали выгру-

жаться на берег. Узнал, что поезд на Ярославль пойдет только утром следующего дня. Мы с женой предпочли переночевать на квартире, куда завез нас подводчик, недалеко от станции, а на утро этот же подводчик свез нас на станцию. Взяв билеты до Ярославля, мы уселись в надежде, что теперь больше не задержимся.

В Ярославле, куда мы приехали утром, отправились прямо на пристань, где, оставив жену, сам пошел разыскивать по данному мне адресу, только что кончившего демидовский лицей, юриста. Он предложил мне билет 2-го класса до Нижнего для дамы. Взял этот билет и отправился на пристань. Мне показалось рискованным сесть с этим билетом, и я предпочел лучше взять билеты третьего класса; мне как-то неловко было: пролетарий, баба—и второй класс, да к тому же у меня документ—одно проходное свидетельство.

Мы поплыли вниз по Волге. Погода была прекрасная. В Нижнем я рассчитывал встретить Короленко и, как только причалил пароход к пристани, я отправился, но его не оказалось: он где-то путешествовал. Так мне и не пришлось повидаться со старым другом. Сели на Зевекенском пароходе, рассчитывая в Казани увидеть товарищей. На пароходе было свободно, пассажиры расхаживали, разглядывали друг друга. Тут я заметил двух молодых интеллигентов, расхаживающих на палубе, зорко присматривающихся к публике. Пароход шел полным ходом. От нечего делать я взял книги, присланные мне Короленко с надписью на память. Молодые люди, проходя мимо, заметили это, и тут же задали вопрос, откуда я знаком с Короленко? Я сказал, чутьем угадывая, что это люди свои, и я не ошибся. Они оказались студентами Казанского университета, оба тройчане, т.-е. Троицкого уезда, Оренбургской губ., хорошо знакомы с Михаилом Николаевичем Поповым и Максимом Юльевичем Гофманом; в Казани тоже знали всех тех, кого мне нужно было. До самой Казани мы уже не расставались, и в Казани мои новые товарищи привезли меня прямо на квартиру своих друзей. Известили также сестру Захарова, Анну Семеновну, которая училась в Казани на курсах.

Вечером меня отвезли в гостиницу, так как в Казани в это время шли усиленные аресты. На следующий день к

обеду я уже был готов к отъезду. Товарищи пришли за нами, чтобы отобедать всем вместе. На квартире, где вчера остановились, собралось порядочно народу, обед прошел очень оживленно, говорили, главным образом, о ссыльных товарищах и о событиях в Якуте. Вечером меня проводили на пристань. Вещи сдал в багаж, взял билеты, но когда сунулся на пароход—сейчас же повернул назад в кассу сдать билеты:—народу было там столько, что пошевелинуться нельзя. Пошел в набережную гостиницу, взял номер, чтобы переночевать, а на утро, когда нам сказали, что пароход будет не раньше вечера, мы взяли девочку свою и пошли в город. Не доходя до квартиры, я послал вперед жену с ребенком посмотреть, нет ли чего опасного. Во дворе она заметила полицейского, стоящего у дверей квартиры. Пошли в молочную. Сидим, пьем молоко; входит Захарова, спрашиваю, в чем дело?—«Обыск,—говорит,—это нам не впервые; а вы, что же не отправились? Ну, пойдете, я вас провожу. Мы вышли из молочной и направились на Волгу. Захарова ушла в город, а мы остались ждать парохода, который пришел часов в 10 вечера.

На пароходе было свободно; мы пристроились у машинного отделения, так что было потеплее.

В Перми у меня был адрес к губернскому агроному, если не ошибаюсь, Петропавловскому, который принял меня с распростертыми объятиями, распросам не было конца. Вечером повел меня в городской сад, где повстречали еще знакомых. Почему-то они хотели видеть великана, а перед ними оказался маленький человечек, сделавший, по тогдашнему времени, великое дело, как «морозовская стачка». На утро пошли осматривать пермские достопримечательности, побывали в кустарной мастерской. Перед отъездом купил футлясную железку и кой-какой еще инструмент для будущей работы. Пообедали и стали собираться в путь. Распростившись с товарищами, пошел на станцию ж. д., чтобы отправиться в Екатеринбург.

На другой день утром мы были в Екатеринбурге; остановились на постоялом дворе, где мне рассказали, на каком базаре можно нанять подводу до Челябинска. Проходя мимо фотографии, мы зашли сняться с дочуркой. Дали фото-

графу задаток один рубль с тем, чтобы переслать в Челябинск наложенным платежом. Но не суждено было иметь память о дочери: карточку мы не получили, почему — не знаю.

В Екатеринбурге пришлось нанять подводу сквозную до Челябинска. К нашему счастью погода стояла прекрасная. Через два дня были в Челябинске. Заехал на почту, узнал точный адрес М. Ю. Гофмана, который жил на краю города, и направился к нему. Встретила нас Клавдия Ивановна Гофман; они еще только вставали. Ну, конечно, как и водится, сейчас приготовили чай. К этому времени встал М. Ю., встали и дети. Дети поспешили побегать, поиграть, взяли с собой и мою дочь, которая посмотрела на них исподлобья, и, видя, что это не мужицкие дети, недолго думая, опустила пощечину маленькой, такой же, как сама, девочке. Не знаю, чем объяснить психологию ребенка, ненавидящего детей не его среды. Еще живя в Пинеге, я это заметил. Мы с М. Ю. переговаривали о делах и только ждали, когда приедут со станции подводы в город. М. Ю. жаловался на свое болезненное состояние. Его неотступно преследовала мысль: «убей жену, детей». Он ясно видел, что психика его хромает, но ничего не мог поделать; ожидали, что со временем, быть может, пройдет. Оно могло бы пройти, если бы мы были свободными людьми, а то мы были ссыльные, поднадзорные, полиция на каждом шагу раздражала, а это отражалось на здоровье...

Отправились мы на станцию, где всем заведывал М. Н. Попов, петровец. Приехали вечером, как раз к окончанию работ. В это время шла молотба хлеба. Для меня приготовили комнатку возле конторы. Жена с ребенком поторопилась на покой, а мы с М. Н. просидели за полночь, проговорили, вспоминая и старое и новое. Он сидел в Петропавловке по лопатинскому делу, — хороший знакомый Короленко. Так я поселился у М. Н. Попова.

На следующий день принялись за работу. Молотили четырехконной машиной, работа кипела. Были у нас две веялки, из которых одна не работала, пришлось приняться за ее ремонт. Поехали в Челябинск, где у знакомых взяли на время фуганок, остальной инструмент у меня был, и веялка была переделана заново. Принялся я за рамы.

Зима подходила, а зимних рам не было, надо было торопиться, но вот вдруг закапризничала молотилка, пришлось и за той поглядеть. Молотилку наладил, но зато и сам свалился в постель, да так, что целую неделю пролежал в сильной инфлуэнце. Перед моим заболеванием к нам на станцию приехали жандармы, сделали обыск у М. Н. Попова и у меня, посмотрели книги, нелегального ничего не нашли, только спросили, почему у меня такие книги, как первый том Карла Маркса и по рабочему вопросу. Я ответил, что это меня интересует. С тем и уехали. Мы с М. Н. недоумевали, что мне значит, по какой причине все это случилось? Впоследствии мы узнали причину этого обыска. М. Ю. Гофману по объявили, что переписка его взята под контроль. Узнав об этом, он вскипел и послал министру внутренних дел прошение — жалобу. Последний обозлился и послал донос, и вот нас начали теснить. Тут на мою голову свалилось большое непоправимое горе. Во время моей болезни заболела дочка. Жена все думала, что пройдет. Я поднялся, а дочь не вынесла — умерла. Я был близок к самоубийству. Только похоронил дочь — меня вызвали к жандарму. Там составили протокол и оставили меня опять в покое.

М. Н. заметил, что я хожу слишком задумчив, стал за мной следить. Как-то раз призывает он меня к себе и говорит: «Не думал я, что ты так привязался к ребенку, но отчаиваться не полагается. Такова наша участь: или самого заморят, или детей; но мы сознательно на то пошли. Плохо женатому революционеру, — вот почему я и не женюсь: если плохо, то только мне, а никому другому. Советую взять себя в руки и не поддаваться отчаянию. Ну, какой ты семьянин? Три раза уже переживаешь ссылку, тюрьму и дальше нас ждет то же самое. Нет, брат, ты должен радоваться, что так скоро избавился, а то было бы еще хуже» и т. д. Расстались мы поздно. На утро получаем известие, что М. Ю. переводят в Верхнеуральск. Поехали в Челябинск на совет, как быть, что предпринять? Судили, рядили, а все же решили, что ехать надо. Нужно только хлопотать, чтобы позволили ехать на свой счет без провожатых пока одному М. Ю., без семейства. Хлопоты наши увенчались успехом — исправник разрешил. Максима Юльевича сопрово-

ждал я. Ехали мы лошадьми; на место прибыли через несколько дней. Немного отдохнув, я тронулся в обратный путь.

Мне еще предстояло отправить семью М. Ю. Поправили кошелю, внутри обили войлоком, потому что зима была очень холодная, я опять запряг своих лошадок, усадили детей, и тронулись в путь. Вещи и библиотеку решили отправить раньше за день на двух подводах с двумя рабочими. Дорога уже знакомая, лошади сами знали, куда нужно ехать. Заночевали в Кундровах, а утром раненько уложили детей в кошевки и поехали дальше. Ночью в темноте меня взяло сомнение: туда ли мы едем? Вижу—огонек мерцает. Дай, думаю, заеду, спрошу. Поворачиваю лошадь, а она ни с места. Я так и этак—не идет. Слез я с лошади, и отправился пешком спросить дорогу. Сказали, что дорога прямо. Я пришел, тронул лошадей и они пошли враз. Оказалось, что лошадь лучше приметила дорогу, чем человек. Больше я уже не стал мудрить лошадьми, а дал им волю и они оправдали себя, как нельзя лучше: привезли нас прямо на квартиру, без всякого спросу.

М. Ю. уже знал, что мы должны были приехать, потому что рабочие с вещами приехали ранее нас. Когда все было готово, все уселись за стол и началось чаепитие, и так просидели мы с М. Ю. за полночь. Он все жаловался на свою болезнь. Насколько мог, я его успокаивал, просил поменьше писать, побольше гулять и т. д.; потом заговорили о будущей работе, что можно ожидать в будущем от движения рабочих. Все увеличивающиеся ссылки, аресты указывали на то, что брожение идет все вширь и вглубь. М. Ю. говорил, что такому, как мне, не следует жить в захолустьи, а надо идти в гущу рабочих, и там проводить идеи Р. С. Д. Р. П. Народничество отходит, нарождается новая рабочая партия, где нужны люди из рабочей среды, и т. д.

На следующий день поехал к себе на заимку. Лишь только я приехал, меня зовет к себе М. Н. и, ничего не говоря, наливает большой стакан вина,—пей,—говорит. Я начал было спрашивать, что значит, но М. Н. твердит одно—пей, после узнаешь.—Когда я выпил, закусил, М. Н. сообщает, что завтра нужно ехать в Челябинск к исправнику. Рассказал тут же, что нас всех разгонят: меня на родину,

М. Н. в г. Орск, так что заимку придется поручать кому-либо из местных товарищей. «Придется остаться и твоей жене,—говорит он,—пока все уладится. Бросить на чужих людей все хозяйство нельзя. Останется Сазоновна, и вместе с управляющим будут вести хозяйство. Вот я попрошу тебя переговорить с женой, согласится ли она остаться? При том, если вас отправить двоих, надо много денег, а их у нас нет, надо будет продавать пшеницу, которой грош цена, а другого выхода нет». Я сказал, что мне денег не надо, так как пойду этапом, а жена пока останется здесь. Переговорил с женой, убедил ее остаться, так как торопиться куда-нибудь, а к весне я как раз попаду на место.

На завтра мы с женой отправились в Челябинск, прямо в полицейское правление. Там мне исправник сказал, что по распоряжению Министра Внутренних Дел я высылаюсь в Смоленскую губ. и, если хочу, могу ехать на свой счет. Я заявил, что на свой счет географию не хочу изучать, а пусть меня отправляют на государственный счет. Исправник приказал приготовить бумаги, а мне велел явиться в полицию в такой-то день вечером. Вечером в назначенный день я заарестовался, а утром меня повел полицейский к начальнику этапа, где уже были собраны арестованные. Меня, не вводя даже во двор, принял конвой, и мы скоро тронулись в путь. Партия наша была небольшая: башкиры, один бродяга, а остальные—смесь. Прошли мы Златоуст, Уфу, где сидели неделю в тюрьме, а оттуда уже отправили по железной дороге. Останавливались мы в Самаре, Пензе и, наконец, в Вязьме. Из Вязьмы, после недельной отсидки, отправили на Сычевку, в наш уездный город. Здесь завезли прямо в полицейское правление, а вечером меня вызвал исправник к себе на квартиру, где сообщил, что я буду находиться под негласным надзором, и просил вести себя скромнее. Я исправнику заявил, что мне дома жить нечего, а пусть скорее выдадут паспорт. «Это будет лучше и мне и вам: вы избавитесь от лишних хлопот, а я найду себе дело». Исправник посоветовал обратиться к княгине Урусовой, которая устраивает ткацкую мастерскую,—а, ведь, мы ткачи.—Я говорю, что я ткач по механическим станкам, а не ручным.—Вы,—говорит он,—опасный человек, как до-

носит челябинский исправник, имеет даже влияние на интеллигенцию. Вот почему я и прошу вас, не затевайте здесь никаких пропаганд, а что касается паспорта, то обратитесь к старшине, он вам выдаст, а я ему скажу, чтобы не задерживал. — На утро дали мне десятского, который должен был доставить меня до следующей волости, а там другой, и так до места...

В деревне я застал отца, который в это время работал по разборке печей в господском доме. Мне пришлось помогать отцу, пока дожидался документа. Пришлось прожить почти все лето. Весной засеял яровой посев, убрал покос, спахал под озимый, и лишь к августу получил документ. Тогда я стал бомбардировать знакомых, где бы можно было получить работу. Получаю письмо из Торопецкого уезда, Псковской губ., от тов. Балиева. Он просил приехать к нему. Запряг я свою лошаденку, отправился в путь. Путь надо было держать на село Днепрѳо, где начало Днепра. Местность очень красивая, холмистая, деревушки маленькие, бедные, как и всюду на святой Руси. Только на третий день я добрался до местечка Бенцы, где проживал Балиев. Балиев (учительствовал в Мезени) жил с детьми, теткой его жены и своим братом, хлопцем, лет 16-ти. Жена Балиева занимала должность акушерки в другом местечке. Жили они в глухом месте, где только и видишь лес и болото. Когда я стал говорить, что в этом лесу скорее сам превращишься в медведя, то Балиев начал рисовать картины, одну краше другой. «Мы этот уголок просветим, построим школу; владелец этого имения (некто Ковеляев) разрешил взять лес на постройку школы, дело только за местными крестьянами; земли под школу будет отведено две десятины; сами мы будем заниматься хозяйством» и т. д. Я дал свое согласие, сказал, что приеду с братом, приведем лошадь, а потом как-нибудь заведем коровенку, а я начну работать по столярному ремеслу. В Бенцах жили поп и два кулака, — следовательно, работа будет, хотя и небольшая. На том решили, что приеду.

Встал я пораньше, запряг свою лошаденку, отправился в обратный путь. По дороге заехал к Балиевой, И. Б. и у нее заночевал. Присматриваясь к ней, я заметил, что она

страдает психическим расстройством: после смерти дочери она свихнулась. Я предложил ей полечиться, она со мной согласилась, что надо, но боится потерять место.

Дома я повидался с братом, который жил в имении батраком. Выслушав меня, он дал свое согласие, решено было, что поедет вместе со своей женой. Стали мы с братом готовиться: купили телегу, за колесами я послал брата к тов. Луке Ивановичу Абраменкову, который обещал помочь, чем может. Перед нашим отъездом отец просил, чтобы и его взяли отсюда. «Жизнь здесь плохая; одна топка за зиму замучает, да стар становлюсь, на Алексея (младшего брата) надежда плохая»... — жаловался он. Мы обещали сделать все, что только будет возможно. Как только приехали — принялись за молотьбу, постройку бани; работы было все по дому, а побочного дохода нет. Мы с братом начали пилить ольховый лес на доски. Я все же не терял надежды, что получу заказы. И вот, однажды, прихожу в Бенцы кое-что купить, разговорился, и в результате получил заказ на полдюжину стульев. Заказ я выполнил, стулья поправились. Другой кулак тоже заказал полдюжины. Так пошло у меня дело. Все, что я зарабатывал, шло на нужды по хозяйству. Зимой мы прожили с грехом пополам, а весной Балиев уехал в Москву; остались мы одни.

Это было в 1890 г. Я послал Ковеляеву, владельцу этого имения, в Петербург письмо, где просил сдать двадцать десятин земли для посева мне в аренду, на что получил разрешение. В то время я имел переписку с Левиным, который был в ссылке в Каргополе; получал письма из Америки. Прислала мне письмо А. С. Машицкая, в котором обещалась устроить меня где-либо в сельском хозяйстве. Но все-таки пришлось прожить в этом проклятом местечке вплоть до зимы 1891 г. В конце 1890 г. получил я письмо в 50 рублей от Кунаховича. Он просил меня приехать к нему в имение. В Воронежской губ., в 8-ми верстах от города Боброва, было им куплено всего 200 десятин земли. Вот в этом-то имении и предложили мне работать. Я посоветовался со своими, порешили, что надо ехать, так как здесь нечего делать. Младший брат отвез меня до прежнего нашего дома, где мне нужно было заключить договор

с арендатором нашей земли, купить в Сычевках кровельных гвоздей и еще кое-какие вещи. Я поехал в Гжатск на станцию ж. д., а брат должен был воротиться обратно к себе. В Лисках, по Воронежской ж. д., я должен был слезть и 40 верст ехать на лошадах.

Хуторок доктора находился между трех богатых имений: Сатина, Звезгинцева и Северцева, недалеко от реки Битюга. На этом хуторе жил отец Кунаховича, старый поп да заведующий хозяйством, которого я должен был заменить. Была у них одна лошадь, а больше ничего, впрочем, была еще кухарка, баба средних лет, фаворитка попа. Мне было известно, что поп не любит крестьян, а с мастеровыми очень хорош, но я не должен был на это обращать внимания, пусть он себе живет, но в хозяйство не вмешивается. Принял меня поп так себе: не худо и не хорошо,—как раз со своей фавориткой нежничали, а тут им помешали, вот почему он был смущен, он не ожидал нашего приезда. Но уже сидя за самоваром, разговорились, и сразу переменялся мой поп, когда услышал, что я знаю столярное дело. Оказалось, что у него есть верстак и кое-какой инструмент, значит дело будет.

Дом был построен новый, бревенчатый, на фундаменте; печи топились соломой и можно было топить дровами. Мне пока-что пришлось поместиться в большой комнате и лечь на полу, где долго не было топлено, а когда истопили, то получился угар, и на утро мы с женой не могли подняться, нас пришлось отхаживать. На другой день, только мог подняться,—первым делом мне нужно было ознакомиться с хозяйством, узнать границы имения. Мы с заведующим запрягли коняшку и поехали осматривать владения господ демократов, которые обещали народу все блага, а на деле—пусть будет у меня, а тебе после. Имение оказалось:—два вишневых садика, уже одичавших, запущенных, небольшой пруд, остальное—под пашней. Рожь, пшеница были обмолочены, просо еще стояло в стогу не молоченое. Все это принял к сведению. В тот же вечер написал Кунаховичу обо всем, что видел и что надо сделать. Прежде всего надо было купить еще лошадь, корову, корму было: солома и сено плюс не молоченое просо...

Ознакомившись с соседними управляющими, я узнал от них, что у Сатина есть поломанная веялка. Поехал туда, осмотрел и купил ее. Принялся за переделку; веялка вышла на славу. Работа у нас закипела. Поп мой был в восторге от такой работы. Я знал, что у него есть деньги, но он никак не хочет дать их сыну,—думал, что пропадут. Так как я имел полномочия заниматься, продавать и закладывать имение, я и говорю своему попу, что вот, мол, думаю заложить имение в банк, потому что надо и то, и другое, а денег нет. Поп, как услышал это, раскошелся. Купили мы корову, а в Евдокеевскую ярмарку в Боброве купили лошадь. Дело пошло. За просяную солому отменял две заводские коровы у сиверского управляющего. Надо было запастись одноконными плужками, пришлось выписать из Москвы от Лингарта. Бороны сделал сам по чертежам сельского журнала—треугольные и расширенные складные, так что к весне у меня было все готово. Часть поля пришлось отдать соседним крестьянам. Также дал я крестьянам семена, так как им нечем было сеять; уговорил их удобривать почву навозом. Я тоже возил навоз прямо из балки, порежной. Крестьяне говорили, что это не к чему, а когда убедились, что это дает хороший урожай,—тогда только поверили...

Весна в том году была ранняя. Началась пахота; нанял я двух рабочих, а сам третий. Засеяли мы яровую пшеницу, горох, ячмень, овес, гречиху, потом просо, посадили овощей. Это было в 1892 году. Год был засушливый, мужички приуныли: корма нет, скот голодает, хлеба не было, земства осаждались голодным людом, открыли детские столовки. Началось поголовное бегство на отхожий заработок в Донщину. Пришлось помогать хоть тем, которые работали у меня, делился—чем только мог. Поп был сильно недоволен тем, что я делюсь с крестьянами. Также вызвал недовольство у соседних управляющих,—говорили, что я балую мужиков. Посыпались доносы хозяину, но хозяин знал обо всем. Когда же он приехал в свое имение, то удивился—откуда все взялось: и плетень поставлен, ворота навешаны, и коровы, и лошади, два жеребенка, два теленка, бычек годовалый (куплен был вместе с коровой)

и куры. Пошли мы с ним осматривать поля, — хлеба наши всюду оказались хорошие, засуха мало повлияла, в особенности там, где сеяли сами. Заглохшими и никуда негодными оказались сады. Пришлось их вырубать, разрезать молодую заросль, которая пошла у нас на плетни. Здесь мне Кунахович сказал, что как только мы обзаведемся как следует хозяйством, то начнем постройку больницы и будем лечить наших мужичков. Я тут же сказал Кунаховичу: — «свежо предание, но верится с трудом». Так оно и вышло: не суждено было осуществиться благим начинаниям. Я стал тяготиться своим положением — быть кнутиком в руках демократического помещика, который прежде всего брал себе, потом уж другому, если находил нужным. Всю зиму я проработал за верстаком, это меня спасало от всех зол. Весной пришлось сеять как раз на пасху; много было хлопот с крестьянами, которые никак не хотели работать на пасхе, но все же я их убедил. У крестьян своей земли не было, они были наделены только усадьбой, почему и оказались в полной кабале у помещиков...

В июне получил письмо от А. Серафимовича, который писал мне, чтобы ехал на Кубань, в Екатеринодар. Я сейчас же написал Кунаховичу, что нет больше сил видеть страдания окружающих, оберегать хозяйское добро, и не помогать людям. Имущество сдал попу, который не хотел отпустить меня, так как, по его же признанию, очень привязался ко мне. Но я категорически настоял на своем и даже не взял своих лошадей, а нанял крестьянина, который и довез меня до станции Лиски, где я взял билеты до станции Афицкой — это за Екатеринодаром первая станция.

Таким образом я очутился на Кубани. Но не долго пришлось поработать и здесь, скоро лихорадка замучила. Прежде всего пришлось отправить жену в Екатеринодар, потом и самому туда же. Я уже успел познакомиться с некоторыми товарищами, как-то: с Грицко и его братьями Кулички, с доктором Михалевым и др. Жена нанялась кухаркой к чиновнику — ляху, у него и я нашел первую работу: отполировать письменный стол; потом поступил в столярную мастерскую, где, проработав две недели, бросил, взял самостоятельную работу.

И вот, как раз приезжает в Екатеринодар А. Серафимович, потом Машицкая. Стали они меня звать в Ростов открыть там столярную мастерскую; работу обещали достать и средства соберут понемногу. Обсудили этот вопрос совместно, обстоятельно, со всех сторон, и нашли, что это будет самое подходящее для пропаганды и для собраний.

Машицкий работал в конторе эксплуатации ж. д., с ним там работал еще Алыбышев, Миронов и другие, фамилий которых сейчас не припомню. Когда все это порешили, они уехали в Ростов с тем, чтобы там решить окончательно этот вопрос.

В Ростове, пока собирались, судили, радили, я работал себе по-маленьку.

В Екатеринодаре меня удивило то, что там не было никакой связи с рабочими, как будто рабочих не было. Когда расспрашивал, мне говорили, что есть и в депо, есть на заводе, но мне не пришлось ни с кем познакомиться. Скоро приехали Машицкие, забрали меня в Ростов.

В Ростове меня, прежде всего, познакомили с рабочими на собрании; в квартире рабочего, на темерничке, работали план устройства мастерской. Рудометов взялся сделать принадлежности для токарного станка, другие тоже, — кто что мог... Оставалось найти квартиру для мастерской, — это поручили мне, как мастеру, указав, в какой местности искать квартиру.

На утро отправился на поиски квартиры. Исходил всю Нахаловку, — квартир много, но как скажешь, что для столярной мастерской, так говорят, что таких не надо. Я уже начал отчаиваться, как вдруг наткнулся на квартиру в глухом переулке, недалеко от кладбища. Я осмотрел ее со всех сторон и нашел, что лучшего помещения в конспиративном отношении желать нельзя. Хозяин квартиры был дрогалем на лесной бирже, хозяйка — прачкой. Мы договорились и, дав задаток, я отправился к товарищам сообщить о найденном мною помещении. На другой день я и Машицкий (в то время это был самый боевой царень) отправились осматривать новую квартиру, которую он одобрил. Поче-

щение состояло из трех комнат и застекленного коридора. Мы решили поставить в большой комнате верстаки, а в коридоре токарный станок. В кухне должен был поместиться я с женой, а в третьей комнате—готовая мебель. Мы внесли еще задатку, и вечером меня отправили в Екатеринодар за женой и вещами.

Когда я возвратился в Ростов, наши ребята приготовили мне денег на материал, дали письмо в Таганрог в магазин для получения необходимых инструментов, так как рассчитывали, что придется работать не одному, а с другими товарищами. Задумали дело поставить так, чтобы со временем создать артель. Что же касается заказов, то это было обеспечено. Тов. Алабышев достал работу на Владикавказской жел. дор. В мои обязанности входило делать письменные столы, шкафы, ремонт мебели по линии жел. дор. по той цене, по какой работал прежний мастер, с условием полной добросовестности в исполнении мною работы.

Первый заказ состоял из простых столов. Мне пришлось закупить лесу столярного (сухого), взять с биржи двух мастеров и построить верстаки. Мы работали от зари до зари. Вечерами мы собирались у Шамурова и еще товарища (фамилию теперь его не вспомню) токаря. Народу бывало порядочно. Мы читали, произносили агитационные речи, пели. Для мастерской сделали патрон, для токарного станка шпендель, винты, а Шамуров даже ухитрился сделать колесо. Шамуров был котельщиком. Человек он преданный делу, и жена его славная женщина, преданная работница. Из женщин больше всего работала М. С. Машицкая, а из рабочих—Перегудов, Дымников, Алабышев, Машицкий, Миронов и Коваленко.

Часто по праздникам собирались у меня. Работа кипела, как по мастерской, так и по пропаганде, завязывались связи. Я побывал у своего Кунаховича. Он жил на Дмитриевской вольно-практикующим врачом. Кунахович попросил меня познакомиться его с рабочими—«вы, мол, будете работать, а я буду вас подлечивать». Я исполнил его просьбу, познакомил его с рабочими, и он скоро завоевал симпатии рабочих. К нему валом повалили рабочие; леча их он и заразился тифом (уже после нашего ареста).

На электроне у Глебова работал Коваленко. Один из товарищей последнего, декто Ветров, был введен в нашу организацию. По отзыву Машицкого, парень был славный, ничего предосудительного за ним не замечали. Встречать новый год нас собралось человек более сорока, из которых больше было рабочих. Это нас радовало, так как указывало на то, что дело наше поставлено хорошо. В последних числах января приходит ко мне Машицкий и говорит, что нас выдал Ветров, который сам в этом признался сначала Коваленко, а потом Машицкому. Он рассказал все, как это было. Он был в театре выпивши; и вот, выходя из театра, его арестовали и отправили в Ново-Черкасск. Там был жандармский полковник Страхов, который умело подошел к Ветрову, угостил его, рассказал несколько строк из Некрасова и т. д. Ветров размяк и выдал всех, кого знал и был освобожден... Товарищи запретили Ветрову об этом говорить, никуда не ходить, ждать, что будет. Но Ветров не выдержал, покончил жизнь самоубийством. По этому поводу организация выпустила прокламацию, где Ветров был выведен как жертва жандармского произвола. Жандармы всполошились, начали арестовывать всех, кого Ветров указал. Оставшиеся присмирели. Мне пришлось бегать по знакомым для организации помощи арестованным и их семействам. Для Шамуровых я взялся шить железнодорожные флажки, потом еще что-то, матери Вовка просто выдал пособие; другие мало нуждались. Сидели: Машицкие, Миронов, Коваленко, Вовк, Солдатов, Шамуров, Алабышев и другие, фамилии которых запомнил. Еще на воле оставались я, Еременко и железнодорожники. Через месяц выпустили из тюрьмы Миронова, Машицкую и, кажется, Побединского. Пока эти люди не ходили в мастерскую, ничего не было заметно. Как-то раз привели рабочего Руделева. Мне почему-то Руделев показался подозрительным. Я сказал об этом некоторым товарищам, которые тоже относились к Руделеву недоверчиво. Ко всему этому нужно было притти в мастерскую Миронову, одетому в форме. Ну, думаю, теперь провалился. Так оно и оказалось на деле.

На другой день приходит в мастерскую субъект и предлагает работу—окрасить бильярдные шары, а сам глазами так и шнырлет по всем углам. Чтобы поскорее отделаться

от него, я взял готовый гостинный стол и понес его сдать. Субъект увязался за мной и все время что-то тархтел. Я не слушал его, шел быстро и вскоре он меня оставил. На обратном пути, сделав несколько зигзагов, я забежал к Машицкой и рассказал ей обо всем. Та тоже пришла к выводу, что это так не пройдет, — надо подготовиться. Дома я потрошился закончить начатые работы, чтобы сдать их поскорее. Я попросил ребят поработать вечерок, и мы закончили работу.

На утро, наняв дрогаля, я уехал на станцию, сдал работу, но счета еще не получил. Входит в контору служитель, вызывает меня на лестницу. Спрашиваю: — зачем? — Молчит. Иду на лестницу, а там жандарм спрашивает: «Вы будете Моисеенко?» — Да, что вам требуется от меня? — «Вас просит ротмистр в его отделение, что-то там требуется». Захожу вместе с жандармом в жандармскую, там мне предлагают подождать немного. Ну, думаю, теперь конец. Минут через пять жандарм предлагает следовать за ним. Я спрашиваю жандарма, куда мы идем? Он говорит, что в канцелярию жандармского управления... Ну, о чем больше говорить — ясно, что арестован. Приезжаем в канцелярию, ротмистра еще не было, ждем. Появляется ротмистр: «А, вы уже здесь, а я был у вас, пожалуйста в кабинет». Приходим. «Садитесь, пожалуйста». Начинается беседа, пока неофициальная: как работаете, с кем знакомы и т. д. Я попросил приступить к делу, — для чего я нужен жандармскому управлению. Ротмистр берет бланк, начинается допрос, показывает фотографические карточки Миронова, Машицкого. «Вы знакомы с этими людьми? — Да, с Машицким знаком по ссылке, а с Мироновым, как заказчиком, который давал работу, вот и все знакомство, работал я больше на жел. дор., ко мне много ходили по делу, так что запомнить всех невозможно; да и в этом нет надобности».

Протокол скоро был написан. Тогда ротмистр говорит: «все же я вас должен задержать до выяснения дела», и меня отправили в тюрьму, посадив в одиночку (тогда все сидели по одиночкам). На утро, во время прогулки, увидел Коваленко. Ему сказал, что для жандармов я, кроме Машицкого и Миронова, никого лично не знаю. Такое предупреждение нужно было, так как все еще возили на допрос. Поста-

новление жандарма было таково: задержать на две недели впредь до выяснения дела. На другой день меня перевели в ту половину, где сидели товарищи, так что нас объединили. Сидело нас 6 человек: Машицкий, Алабышев, Вовк, Коваленко, Солдатов и я, остальные по разным местам — Болдырев, Шамуров и еще кто-то в Новочеркасске. Прошло две недели; вынесли мне другое постановление: — еще на месяц.

Жена ходила на свидание два раза в неделю. Ротмистр ей сказал, что меня держат за прошлое, а прошлое у меня богатое, так что едва ли освободят...

Мы решили мастерскую ликвидировать. Я сказал жене, чтобы она больше заказов с железной дороги не принимала, а заканчивала работу. Меня больше ни о чем не расспрашивали. Прошел месяц; вынесли новое постановление: — впредь до особого распоряжения министра внутренних дел — это означало, что придется путешествовать куда-либо в ссылку, так оно и случилось. Просидев 7 месяцев, мы получили назначения: мне назначили Вологодскую губернию — три года, Машицких, Алабышева, Коваленко — в Архангельскую, тоже на три года; остальных, которых ранее выпустили, разослали по разным местам. За это время к нам прибавилось еще несколько человек, арестованных за стачку в железнодорожных мастерских. Иван Козин и другие, фамилии которых я не помню, да их скоро от нас отправили в Новочеркасск, так что мы узнали только впоследствии, что их всех разослали по разным местам: некоторых на Урал и в Вятскую губ.

Мы стали собираться в путь; написали прошение о том, чтобы нам разрешили сходить на свои бывшие квартиры для ликвидации дел. Нам разрешили. Часть инструментов я взял с собою, остальные оставил для продажи. С собою брал все необходимое, зная по опыту, каково в ссылке. Перед нашей отправкой написал министру внутренних дел, прося назначить мне ссылку в Архангельскую губ., находя для себя удобней Архангельскую, чем Вологодскую губ. (в Архангельской выдавали пособие, а в Вологодской пособие выдавалось только привилегированным да неспособным к труду).

Еще до отправки, дня за два, заарестовались А. С. Машицкая и моя жена. Ждали дня отправки; в тюрьме я

переложил свое барахло, упаковал, смотритель наложил печать для того, чтобы конвой больше не перетряхивал это, без этого мученье одно: каждый конвой старается как можно больше рыться и чего-либо стянуть, особенно Ярославский славился придирчивостью... Настроение у нас было приподнятое: скорей-бы в дорогу,—надоела тюрьма, хотя сравнительно здесь нам сиделось куда лучше, чем где-либо в других тюрьмах.

Наконец настал день, когда нас пригласили в этап. Мы не заставили себя ждать, живо собрались. Выстроились попарно и двинулись на станцию Ростов. Это было в октябре, не помню числа; народу провожало много, знакомые,— те все пришли проводить нас, напутствуя пожеланиями, скорее вернуться и снова приняться за дело, которое мы начали... Всех политических посадили отдельно в вагон с жандармами.

В Новочеркасске к нам присоединили двоих: Козина и Болдарева, которые просидели в Черкасской тюрьме; Солдатов и Шамуров остались в Новочеркасске. Впоследствии мы узнали, что Шамурова выслали в Вятскую губернию, а Солдатова—в Таганрог. Козин и Болдарев были назначены в Вологодскую губернию, мне в спутники. Нас повезли через Козлов. В Козлове высадили и отправили в тюрьму, где мы просидели два или больше дней; потом уже до Москвы нигде не высаживали.

В Москве нас разместили по башням; я опять попал в северную, Машицкую и жену отправили в Пугачевскую. Надзиратель северной башни удивился, что видит перед собой знакомое лицо—«докуда будут вас гонять?» спросил он. Он знал, что первый раз нас гнали за стачку, второй тоже. Осмотрев всю камеру, я нашел, что все записи сохранились, как на мебели, так и на окнах. Просидели мы не долго. Вскоре мы добрались до Вологды, где нас продержали более месяца. В это время пришло известие, что Александр III издох.

Машинские, Алабышев и Коваленко через неделю были отправлены в Архангельскую губ., а мы остались ждать назначения. Расставание с товарищами было очень невеселое, в особенности мне. Я еще с дороги послал прошение воло-

годскому губернатору, где просил назначить мне город, лежащий на пути в Архангельскую губ., в виду того, что мною подано прошение министру внутр. дел о переводе меня в Архангельскую губ. На мое прошение не получил ответа, но все же я не терял надежды быть в Архангельской губ. С такой надеждой мы распростились с друзьями.

Я уже сказал, что смерть Александра III застала нас в Вологодской тюрьме, где администрация собрала всех арестованных в церковь для присяги новому государю. Уголовные шли охотно, потому что ждали манифеста. Мы втроем (я, Козин и Болдарев) тоже пошли посмотреть на эту процедуру. Стали в сторонке, переговариваясь между собой. Вероятно, кто-либо из надзирателей заметил это и, когда мы ушли из церкви в свою камеру, к нам пожаловали поп со старшим надзирателем и пригласили нас в церковь. — Для чего?—спрашиваем мы. «Присягать новому государю» — Мы были.—«Этого недостаточно, вы должны отдельно присягать». — А если мы не пожелаем; раз присягали, что еще нужно?—Тогда смотритель, обращаясь к попу, говорит: «это все делает этот господин», и указывает на меня.—Да, верно, — говорю надзирателю,—потому что не хочу дурака валять, — присягать несколько раз.—Поп посмотрел на нас и, когда увидел на окне раскрытое евангелие на немецком языке, спросил: «Кто у вас читает по-немецки?» Козин отозвался:—я. «Так вот, друзья мои, я советую вам пойти в церковь, исполнить то, что приказывают, чтобы не было осложнений». — Спасибо, батя, за совет, идите, а мы придем.—Когда поп и старший надзиратель ушли, мы решили пойти, считая, что эта присяга ни к чему нас не обязывает. Пошли в церковь и приняли присягу.

Наконец, пришло назначение послать меня в город Вельск, Болдырева в Устюг, Козина в Сольвычегодск. Прежде всего пришлось кое-чем запастись на дорогу. Почему-то меня отправили раньше, а их оставили до следующего этапа. Так мы распростились с товарищами, рассчитывая увидеться при более благоприятных условиях. К сожалению, не пришлось увидеться ни с Козиным, ни с Болдаревым; о Козине

я еще буду говорить, Болдырев же окончательно скрылся с моего поля зрения.

Нашу партию отправили в стужу, в холод. До Кандикова шли пешими два дня. В Тотье партия разделилась на две части: одна пошла на Великий Устюг, другая на Вельск, по пути к Шенкурску. Здесь мы шли просторно, нас всего было пять человек. Конвой попался хороший, свободно ходил закупать продукты по деревням. Подвигаясь ближе к Вельску, я начал спрашивать, есть ли кто из политических в Вельске. Кого не спросишь—не знают. Наконец на одном из этапов встретился с знаменитым духобором—Веригиным, с которым пришлось поговорить (его выслали из Колы в Сибирь, в Березов). Веригин был в Шенкурске, но про Вельск ничего не знал. За Веригиным ехали его последователи на своих лошадях. Разговор велся больше на тему о ссылке, о количестве ссыльных и т. д. На утро мне пришлось выехать, не повидавшись с Веригиным, он еще спал.

Наконец, приехали в город,—справа река Вель, кругом лес, городишко маленький, но постройка показывала, что здесь живут буржуи. Мне еще по дороге рассказывали, что в Вельске. Кого не спросишь—не знают. Наконец, на одном себя представляет, я не знал. Нас привезли прямо в полицейское управление, где меня принял помощник исправника. Мне оставалось только спросить, где можно найти квартиру. И с квартирой кое-как устроился. Помощник исправника объявил, что я должен являться в полицию ежедневно, и т. д. «Хорошо, все это нам известно, когда устроюсь, тогда будет видно, а пока что надо с дороги отдохнуть». Немного отдохнув, я отправился на поиски более удобной квартиры не только для жилья, но чтобы можно было устроить мастерскую и начать работать. А ну-ка зайду, думаю, в трактир, авось разужнаю кое о чем. Захожу—сидит жандарм с хозяином трактира и еще несколько гостей. Спрашиваю, не укажет ли кто, где можно найти квартиру, отдельно избу или флигель. Жандарм сейчас же с вопросом—а вы кто такие?—«Как видите, человек; только что прибыли в ваш городишко, и вот нужна квартира; сам я мастеровой—столяр; если знаете—укажите, буду очень благодарен». Тогда мой жандарм подумал несколько, потом говорит:—есть

тут флигелек свободный, не знаю, пустят ли, сходите вот на Дворянскую улицу, рядом с земской управой, спросите портного Каткова.— Я доблагодарил. Вскоре нашел Каткова, показали мне флигель, договорился о цене, и пошел к себе на квартиру.

Этапная жизнь кончилась, теперь надо начинать новую жизнь. В голове работала мысль: как устроиться, где взять лесу, будет ли работа и т. д., но устав с дороги, я скоро уснул и проспал до утра, зная пословицу: утро вечера мудренее. На следующий день я отправился к Каткову. Хата для меня была уже выметена, плита затоплена. Катков оказался прекрасным человеком. Он посвятил меня во все мелочи сельской жизни. К обеду мы уже были на постоянной квартире. Оставалось только распаковать вещи и приняться за дело. По указанию Каткова я пошел купить несколько досок лесу и принялся за работу. Сделал для себя кровать, табуреты, стол и т. д. Дня через три прихожу в полицию, меня увидел помощник исправника, позвал к себе в кабинет и предложил сделать простой диван для канцелярии. «Почему не так, сделаю; но гладкий или садовый, решетчатый?»

«А какой лучше?»

— И тот, и другой будут хороши.

«А сколько будет стоить?»

И говорю, что лакированный будет стоить 15 руб., а простой — 10 руб. «Дорого». — Дело ваше.

«Да у нас Истомахин возьмется дешевле».

— Отдайте Истомахину.

Нет, вот что,—вы на первых порах возьмите подешевле, а потом на другом мы вам заплатим дороже.

— Благодарю вас, мы не привыкли обедать через день, а каждый день, а поэтому отдайте Истомахину.

«О, какой вы упрямый; ну, ладно, сделай, только хорошо».

— Вот это другой вопрос, за это я могу ручаться.

На этом мы распрощались.

Таким образом я начал работать. Когда мою работу увидали в полиции и сказали, что это сделал вновь прибыв-

ший политический мастер,—заказы посыпались, как из рога изобилия. Местные мещане стали предлагать мне лес. Понадобилась береза для мебели, липа для перевода гравюр на дерево и т. д. Ясно было, что работа будет, а значит будем живы и сыты. Плохо было то, что не было ни одного товарища, не с кем было побеседовать. Исключительно работа, и только работа. Пришлось выписать журнал «Русское Богатство», газету, а впоследствии «Ниву» (из-за приложений), — только этим и пробавлялся. Товарищи писали, что такой-то назначен к нам, но за все время пребывания моего в Вельске—ни одного товарища не пришлось видеть...

Я работал всевозможные вещи, чего бы только не заказали: всякую мебель, мягкую и гладкую, резную в разных стилях и т. д. Но за то сам-то я отстал в идейном развитии: погоня за заработком отнимала все время и затемняла духовную жизнь.

Я уже сказал, что в Вельске была удельная контора, чиновников было много, так что было два клуба, бильярды, пьянство, картежная игра и т. п. вещи. Вся эта интеллигентская мразь только и знала одно пьянство. Пьянствовали земские начальники по целым ночам, а утром шли ко мне в мастерскую улаживать конфликты, происходившие за ночь. Приходилось прямо гнать, чтобы не мешали работать. Своей работой я достиг того, что ко мне даже приносили карманные часы в починку. Когда я отказывался, мотивируя тем, что я ничего в часах не понимаю, то обижались на меня, приходилось брать и идти к часовому мастеру. Были среди них и такие, которые посылали за мной, когда им надо было перевесить лампу. Один я уже не справлялся с работой, пришлось взять помощников.

В Вельске я прожил три года, работая чуть ли не по двадцать часов в день. Кредитом я пользовался во всех магазинах, потому что работать приходилось на всех. Большею частью работа моя состояла из стульев, мебели, письменных столов и т. д. Когда кончился срок, мне пришлось написать на родину, чтобы выслали документы, которые я и получил через полицию. Но каково же было мое удивление, когда я увидел на обороте документа перечень мест, в каких я не имею права жить: чуть ли не вся Россия была

на военном положении. Мне запрещалось жить во всех университетских городах, в столицах, на земле войска Донского и в девяти губерниях. Это взорвало меня, и я пошел в полицию, где поднял шум. Еле меня успокоили. Я говорил, что напишу министру внутренних дел. Решил пойти к юрисконсульту посоветоваться, как мне поступить, но в это время пришел помощник исправника в мастерскую и просил дать ему документ. Я спрашиваю, для чего?—Мы вытребуем новый,—говорит он, сваливая всю вину на чиновника, что это, мол, глупости и т. д. «Документы я вам не дам, а новый получу и без вашей помощи». Он ушел. Через некоторое время присылает за мной жена помощника. Иду, рассчитывая на работу, потому что я много ей работал. Позвала она меня к себе в гостиную и начала сначала о работе, потом заговорила о документах. Я рассказал ей все. Она возмущалась. «Для чего вам документ? Вас и так все знают, живите себе. Возьмите план усадьбы, выстройте себе дом и будете работать. Вот я уже говорила с начальником казенных дач о вас, чтобы вам дали лесу на постройку, а также и удельное ведомство отпустить беспоплину. Чего вам еще? Куда ехать, когда здесь у вас такая масса работы. В России вам будет хуже».

Хорошо,—говорю я,—ваше предложение приму к сведению, но все же документ мне необходим. —

«Да, да, мне говорили, что вам надо вытребовать новый документ, но для этого требуется ваш старый, а вы почему-то не хотите его дать».

— Потому, что незаконно поступили, вот почему я и хочу послать этот документ министру внутренних дел, чтобы подобных вещей больше не делали. —

«Да, это неосмотрительно сделал письмоводитель, а муж мой подписал неосмотрительно. Я бы вам советовала пока что отдать ваш документ мужу; я настояю на том, чтобы вам вытребовали новый, как можно скорее. Я вам ручаюсь за то, что документ будет, положитесь на меня. А пока что вы сделаете мне поскорее изящную полочку для чучела вот этой птицы (она показала на попугая).—Вашим буфетом все любуются, каждый спрашивает, сколько вы взяли. Я знаю, что с меня вы взяли дешевле, но мы накинem

на другом. Вот когда начнете строить свой дом, мы постараемся добыть для вас лес» и т. д. Никто не думал, что я уеду от такой благодати. Но я уже стал готовиться, постепенно сокращал работу, перестал принимать заказы.

В это время ко мне ходил заниматься один межевой чиновник, который платил мне за урок. Однажды мы заговорили о работе. Я и говорю ему, что быть может мне придется уехать, что я не прочь продать мою мастерскую. Он просил меня никому не продавать, — он ее целиком купит, лишь бы я его хорошо выучил мастерству. Приходилось заканчивать начатые работы и ждать получения документа. Документ пришел через месяц, и я получил чистеньким, повеньким его, исправник дал мне выписку, в каких местах я не имею права проживать.

5. Возвращение из ссылки и работа на южных рудниках.

Когда все устроилось, мы стали постепенно готовиться к отъезду на родину: захотелось побывать на Морозовской фабрике, где работала наша воспитанница, у Смирнова в Ликине. Наконец, отправились в путь. Дорога шла лесом. Был мороз, но так как одежда была у нас хорошая, то мороза мы не боялись. На пол-пути мы заехали в деревню, заказали самовар, накормили лошадей, напились чаю и отправились дальше. К вечеру мы прибыли на станцию, которая была в лесу. Поезда пришлось ждать часов 12, потому что ходил один раз в сутки. Билеты взяли до Москвы. В Вологде жандарм очень присматривался к нам. Мы не слезали и доехали до Грязцова, где сошли. Там нас уже поджидали товарищи. Предъявив билеты, мы поехали в город, в котором прожили сутки. Как раз передо мной проехал Петр Морозов, который возвращался из ссылки в Грязовец. Мне дали адреса в Москву и, кажется, в Гжатск, где я мог пристроиться на работу, но этим воспользоваться мне не пришлось.

Приехали в Орехово. На фабрике Смирнова меня предупредили, чтобы я не ходил туда, так как меня могут арестовать; также сообщили, что управляющий присылал узнать, на долго ли приехал и просил убраться поскорее. Распростившись с товарищами, я уехал, оставив свою карточку на выставке в ореховской фотографии. Как после мне передавали, рабочие массами приходили спрашивать, где их защитник; допрашивали мужа нашей воспитанницы, но он тоже отвечал, что не знает, что я поехал на родину. Вот до чего был напуган Морозов, что через десятки лет все боялся.

Приехал на родину попусту. Надо было поскорей уезжать. Прежде всего отправил жену в Ростов-на-Дону раз-узнать может ли кто-либо устроить меня. Жена писала: приезжай, устроят. И я поехал в Ростов. Когда увиделся с Дымниковым и Перегудовым—заметил, что ребята повернули не в ту сторону: в них заговорил шкурный интерес, они сторонились от всякой работы. Узнав, что А. Серафимович снова в Черкасске, и я отправился туда. От него я узнал, что можно хорошо устроиться в Мариуполе. Серафимович дал мне адрес к Г. Г. Псалти—греку. Приехал в Мариуполь, где Г. Г. Псалти не оказалось в городе, а пришлось познакомиться с его братом, который обещал работу. Приискал квартиру и поехал в Ростов.

В Ростове сказали, что в Таганроге находится Козин Иван и Солдатов. Взяв их адреса, заехал в Таганрог, разыскал обоих, и с первого раза заметил, что за ними по пятам ходит шпик, которого они не замечали. Стали следить и убедились. Шпика этого мы поймали и пригрозили ему. После этого его уж больше не видали.

Здесь меня познакомили с Иоффе, у которого была лесная биржа. Через него я приобрел необходимые инструменты и отправился в Мариуполь, где стал работать. Первая работа была поденная, потом приходилось исполнять и плотницкую работу. Так моя жизнь началась в Мариуполе.

Через месяц приехал Г. Г. Псалти, который тоже давал работу. Пришлось немного проработать у брата Псалти, И. Г., на ватной фабрике. За все это время мне не пришлось встретиться с партийными товарищами, несмотря на то, что оксело Мариуполя было два завода: Никопольский и «Проведанс». Положение мое было не из важных: находился под негласным надзором, работа моя кончилась, надо было подумать о дальнейшей работе.

Узнав, что Машицкие в Ейске, поехал туда. В Ейске на рудниках служили Миронов и брат Машицкой. Послал свою жену узнать: нельзя ли поступить на рудники—ну, хотя бы плотником. Миронов ничего ей не обещал. Через некоторое время мне стало известно, что Миронов перешел на другие, Нарыковские, рудники. Я рискнул поехать сам, и не обманулся: Миронов дал мне работу на коксовых пе-

чах, десятником. Вот здесь то я уже был среди мастеров. Скоро завязалась связь с рабочими. Потом я познакомился со студентами-практикантами. Среди них был П. Порошин, который скоро снабдил меня литературой. Полиции я был известен благодаря задержанному ею письму Козина, адресованному мне, но пока меня не тревожили, один только урядник спросил, есть ли у меня такой знакомый. Я отрицал и тут же прибавил:—мало ли у меня знакомых. Порошин предложил мне переехать на Щербинский рудник, заведующий которым был инженер Прядкин. Кроме того, там находился молодой Соколов, Сергей, таким образом Порошин дал мне письмо к Соколову и Прядкину. Поехал на станцию Кривой Горь; рудник от станции находился в шести верстах. На руднике отыскал Соколова, который уже кое-что знал обо мне. Он принял меня как товарища; в тот же вечер я познакомился с Г. И. Петровским, который только поступил на рудник, кажется, пока слесарем при шахте. Пришел также Нестеров (член, т.-е. депутат второй думы). Весь вечер просидели, обсуждали вопрос, как усилить пропаганду среди мастеров и т. д. На утро, поговорив предварительно с Я. Д. Прядкиным, я был зачислен работником в плотницкой мастерской. Устроив все дела с приемкой, с квартирой, я поехал за женой и имуществом. Так я переехал на Щербиновский рудник, где пришлось поработать, вплоть до ухода инженера Прядкина.

На Щербинском руднике был порядочно развит кружок. Членами кружка были: несколько интеллигентов конторщиков, практиканты, инженер Касьянов (помощник Прядкина), доктор А. Н. Ковалеров (теперь профессор в Харькове). На Щербиновке я немедленно втянулся в кружковую работу благодаря Соколову, а также доктору Ковалерову. Доставали литературу, собирались, совместно читали. Работали в кружках Г. И. Петровский, Нестеров, Соколов и все мы. Сначала нашими слушателями были мастеровые, потом мало-по-малу стали входить и шахтеры. Существовал также кружок любителей: устраивали спектакли, семейные вечера, читали из Некрасова «Парадный подъезд» и другие его произведения. В школе читали лекции: Прядкин, Касьянов, Ковалеров, учительница и др. При школе была хорошая би-

блиотека-читальня. Все это способствовало пропаганде, работа ширилась.

Товарищи-рабочие очень внимательно относились к пропаганде и сторожили нас: они первые заметили, что за мной установлена слежка. Собираться у меня стало рискованно; порешили проводить собрания в других местах. Мешало много то, что у семейных товарищей жены были не просвещенные и враждебно относились к нашим собраниям. Мы скоро образовали кассу взаимопомощи, делали сборы на литературу и т. д.

Нелегальную литературу нужно было прятать, а кругом люди ненадежные, могут подметить, и мне, как столяру-плотнику, пришла мысль сделать голубятник такой, чтобы можно было туда прятать брошюры и т. п. литературу. Об этом я сказал тов. Нестерову, так как он был каким-то чиншкой; он должен был попросить заведующего разрешить сделать для него голубятник. Нестеров принял мое предложение. Выпросив дозволение, я взялся за работу. Голубятник был готов. Нестеров без моего указания не мог ни открывать, ни закрывать, — я убедился, что работа сделана хорошо. Я решил всю литературу собрать и уложить на место, выдавать по надобности товарищам.

Как раз тогда поступили к нам прокламации. Дело было так. С Константиновки к нам приезжала труппа поставить спектакль. Мне не вышло быть на спектакле: моя смена работала ночью в 10 часов. Приходит ко мне монтер электрической станции с корзиной, отзывает меня и говорит: — убери, здесь прокламация. — Взял у него корзину, запер в шкаф и пошел в механическую мастерскую. У товарища Зюзина спросил, кто работает ночью. Оказалось, что работал еще тов. Травнин и Жданов, которым я сказал, что сегодня надо расклеить прокламации по всему руднику. Ребята были рады этому: ведь это еще невиданное дело. На утро прокламации были расклеены на Щербиновке, а остальные на другой день расклеили на Челеповке и даже попали на Никитский рудник. Это внесло много шума среди рабочих. Подозрения пали на гимназистов, приходивших иногда на рудники. Нам оставалось только наблюдать и продолжать свое дело.

Прибывали новые товарищи, которых приходилось устраивать на руднике. Но пришлые подолгу не задерживались, тем не менее они много помогали пропаганде среди шахтеров, устраивали склады и подземелья для литературы и т. д.

Мой съемщик был отъявленный черносотенник и ужасный трус. Когда ему сказали, что прокламация упала в вагонетку и попала в шахту, он побоялся спуститься туда. Рабочие, смеясь над его трусостью, тоже не спустились, так прокламация и пошла в шахту. После этого мы налегли на шахтеров, и скоро образовался кружок очень дельных ребят, между ними были и некоторые десятники, а также штейгеры... Устраивали спектакли, семейные вечера с декламацией и чтением произведений выдающихся писателей.

Время шло, работа двигалась, хотя и не так быстро, как это желалось, но все же у нас была святая вера в лучшее будущее; вперед смотрели бодро и весело; молодежь ходила на лекции, читала книги в школе. У нас был свой подбор книг. Собрания наши все ширились.

Прокламации здорово всколыхнули рабочие массы. Когда заметили, что прокламации расклеены не только у нас на руднике, но и на соседних рудниках и на всех телеграфных столбах, то стало ясно, что это не дело рук гимназистов, а что-то другое. И вот мастера десятники стали присматриваться, прислушиваться, но все их старания ни к чему не привели. Нам было известно, кто из них способен напасть и их остерегались. Больше всех за этим делом следил наш доктор А. Н. Ковалеров. Г. И. Петровский работал на Нелеповском руднике, где вел усиленную пропаганду среди машинистов, слесарей, а также шахтеров. Собирались мы все вместе в балках, обсуждали всякие вопросы и т. п. Всем хотелось вырваться на волюшку. Но полиция тоже не дремала: всюду нюхала, следила.

Крестьянское восстание в Харьковской губ. заставило нас насторожиться. Мы чутко прислушивались к движению и ждали большого подъема, в особенности ловили каждое слово шахтеры. Но все дождалось того, что крестьян перепороли, посажали в тюрьмы и жестоко с ними расправились. Как бы там ни было, но среди рабочих все больше и больше

зрело недовольство. Само дело показывало, что только сплоченной силой рабочих и крестьян можно чего-либо добиться. Даже более отсталые рабочие понимали, что только общими усилиями можно сломить вражью силу.

Щербиновский рудник в смысле организованности рабочих кружков в то время был один из первых, и надо отдать справедливость, в этом отношении много сделал и инженер Я. Д. Прядкин и доктор А. Н. Ковалеров. Последний был известен, как неутомимый создатель всевозможных вечеров и спектаклей, как говорится, — русский хлебосол, — у него все находили уют.

Все шло гладко, всякие конфликты улаживались быстро и хорошо. От Щербиновского рудника шли кругом разветвления: Ново-Никитовский, Государев байрок и др.

Когда мы узнали, что Прядкин Я. Д. уходит на другой рудник, то собрались все сознательные рабочие и порешили устроить вечер и преподнести адрес ему, как лучшему из инженеров. Для этого сделали подписку желающих поздравить Прядкина; собралось много. Доктор Ковалеров вложил всю свою энергию в это дело. Из Харькова был выписан фотограф. Адрес был приготовлен в конторе. В назначенный день стали собираться в клуб. Целые семьи пришли с Нелеповского рудника; народу собралось очень много; все настроены были по-праздничному. Здесь были все конторщики, помощник Прядкина, инженер Касьянов и др. На вечер пришел и наш директор Янчевский, чтобы вместе с рабочими почтить уважаемого инженера, как лучшего сотрудника. Посредине стола усадили виновника торжества, Я. Д. Прядкина, рядом с ним директора, а остальные — кое-где. Мне пришлось сесть против Прядкина и, как старому, седому работнику, нужно было прочесть и преподнести адрес. С этого момента началось наше торжество. Я прочел адрес и торжественно вручил Прядкину, сказав несколько приветственных слов; потом ответную речь сказал Прядкин, за ним директор и т. д. Полиция, в лице урядника, хотела было пробраться к нам на вечер, но не тут-то было, — мы вежливо попросили оставить нас.

Вчера прошел с большим подъемом; говорили, не стеснялись, все, кто желал. Мне, как старому, пришлось

больше всех говорить. Это было мое первое открытое выступление (исключая подполья) перед общей массой. Здесь было много таких людей, которые не прочь были сделать донос. Мои речи сильно подействовали на директора Янчевского, который так расчувствовался, что либеральничал во-всю: он рад видеть у себя на руднике таких сознательных работников и т. п.

Доктор наш все время хлопотал и подзадаривал всех других высказать все, что только у кого есть, не стесняясь. В долгу никто не остался, — говорили обо всем. На прощанье директор просил работать в дальнейшем так же, как работали с Я. Д. Прядкиным, — он, с своей стороны, также приложит все силы, чтобы работать в контакте с рабочими.

На утро прибыл из Харькова фотограф; всякому хотелось попасть в одну из групп. Групп было несколько: первая — школа с детьми, потом главное здание рудника, поселка и т. д., потом собирались группами. До сего дня сохранилась одна группа у нашего украинского старосты, Г. И. Петровского. Там сняты доктор Ковалеров и все кружковые работники того времени. Вскоре после этих торжеств, благодаря упомянутой выше фотографии, стали производить обыски и привлекали к ответственности всех снятых, как причастных к Р. С. Д. Р. П. На рудник пожаловал жандармский ротмистр; мы все насторожились, потому что знали, что эти господа даром не ездят, и предупредили кого следует, чтобы припрятали все нелегальное. К нашему счастью, ротмистр пробыл всего одну ночь и уехал. Все облегченно вздохнули, лишь только мне пришлось призадуматься. А призадуматься пришлось вот почему. Ротмистр навестил директора рудников, справлялся обо мне и прямо заявил, что этого человека надо арестовать. Предупредил меня об этом Прядкин, и тут же посоветовал немедленно убираться. Что тут оставалось делать? Ждать, пока арестуют и сошлют опять туда, куда Макар телят не гонял? Нет, довольно: на свои руки всюду найду муки. Пошел к Касьяну, попросил, чтобы немедленно выдали расчет. Тот было начал уговаривать, и когда сказал, что если я не уйду сам, то все равно меня уберут, — Касьянов согласился.

На другой день, никому ничего не говоря, получил

расчет, взял документы из полиции и, чтобы замести следы, нанял подводчика не на станцию, а прямо в Лозовую Павловку (туда не ездил раньше).

Ехать пришлось долго. Первый подводчик передал меня другому, а сам воротился; это для меня было еще лучше, совершенно успокоился, след замечен. В Лозовой Павловке прежде всего принялся за частную работу. Купил лесу, сделал стол, потом сундук и т. д., потом сходил к Прядкину, который поступил управляющим Орлово-Еленского рудника, называвшегося французским. Прядкин просил повременить, дать ему осмотреться на новом месте. Через недельки две я опять явился к нему. На этот раз он дал мне записку к мастеру коксовых печей (он же и заведующий всеми мастерскими)—Глинке, который считался главным управляющим. Приняв от меня записку, Глинка сказал, что плотником он меня примет, что же касается квартиры, то таковой нет, пока не отремонтируют; на работу могу приходить, когда мне вздумается. От Глинки получил записку в мастерскую к старшему рабочему (фамилию его забыл, да к тому же он давно пошел к праотцам).

Мастерская была большая, а работало всего три человека и я четвертый. Поговорив со старшим рабочим, я отправился в Лозовую Павловку, чтобы сказать жене, как обстоит дело. Жене моей было все равно, она у меня уже привыкла к бродячей жизни. Я приготовил инструмент, а также хлеб, чай, кусочек мяса на обед,— чтобы утром пораньше встать, не опоздать на работу.

Утром на работе я увидел своих плотников: один из них был солдат, другой поляк; скоро они ушли на ремонтную работу, а я остался в мастерской. Старший наш рабочий был заядлый ханжа и черносотенник, что я заметил с первых же слов, когда заговорили. Ну, думаю, погоди,— скоро обрабатываем. К обеду пришли плотники, начался общий разговор, тары-бары, но все же можно было уловить, кто чем дышет. Оказалось, что поляки недовольны тем, что у них новый управляющий русский, а не поляк. Стал я внимательно присматриваться. Рядом с нами была механическая мастерская.

Ознакомившись мало-мальски, я увидел, что здесь не-

початый край работы. Стал я из Павловки приносить газеты, которые в свободные минуты, во время обеда и завтрака, читал и выбирал, конечно, более подходящие статьи. С солдатом мы быстро сошлись, оппозиция нам была со стороны старшего плотника. В механической мастерской не было ни одного мало-мальски сознательного, лишь только механик был своим человеком, да и то на первых порах он был очень осторожен. Ясно было, что все настроены против Прядкина и тех, кто поступал по его приказанию. Помощником Прядкина был инженер Крюченеско, всецело находившийся под давлением штейгеров. Рудник был запущен; добыча была незначительная; лесных материалов не было; контора вся состояла из польских панов, высокомерных и щепетильных; разложение было полное. Чтобы наладить дело—нужны были люди честные и знающие. Польская клика во главе с Глинкой прилагала все силы, чтобы выжить Прядкина. Все рабочие, находящиеся под давлением штейгеров и конторы, не гласно, втихомолку фоптали.

Первая стычка у Прядкина с Глинкой вышла из-за назначения меня контрольным десятником на лесном складе, откуда доставлялся лес на шахту по требованиям. Наблюдая за перевозкой леса, я скоро обнаружил, что подводчик и заведующий лесным складом покрывают друг друга и обделывают свои делишки. Как-то раз механик Прянишников заходит в склад и предлагает мне записаться в библиотеку, которую служащие устраивают для себя. Я говорю:—«охотно запишусь, но только вы не с того конца начинаете, не для одних служащих, а для всех рабочих нужна библиотека; служащих 30—40 человек, а рабочих тысяча, и о них никто не позаботится». На эту тему мы с механиком долго говорили. Наконец, он мне пожаловался, что вот у него в мастерской нет ни одного порядочного рабочего—рад бы был, если бы попался хороший токарь, слесарь, кузнец. Я говорю: «Зачем же дело стало? Я вам найду токарей и слесарей, кого нужно; у вас на-днях был человек с письмом из Екатеринослава, отчего вы не приняли?» Механик удивился:—а вы откуда знаете?—«Мало ли чего я знаю». — Ну, в таком случае прежде всего токаря, а потом увидим.

Я написал в Екатеринослав, и вскоре приехал молодой

человек Захаренко Иван, друг Г. И. Петровского. Прянишников его принял, и остался им очень доволен. Захаренко жил у меня; мы стали заседать на Прянишникова, чтобы он принял еще, и постепенно очистил всю мастерскую—один за одним. Мы скоро образовали кружок, который и положил начало в этом районе очень сильной организации. Библиотека была организована для всех рабочих, мы все носили в библиотеку—что у кого было. Газеты стали получаться ежедневно, журналы тоже. Ко мне примкнули несколько человек шахтеров с Волги, которые с жадностью набросились на книги.

Мало-по-малу начали появляться рабочие со Щербиновки, которые мне и рассказали, как после моего отъезда на руднике были обыски, арестовали Нестерова, у которого нашли одну нелегальную брошюру; у Соколова взяли несколько фотографий, у Зюзина с Ждановым ничего не нашли; допрашивали многих.

Прядкин принимал всех рабочих, приходивших со Щербиновки. Прянишников энергично начал чистку своей мастерской. Рудник ожил, работа закипела; черносотенный элемент оставался только у Глинки, который вел свою линию по всему руднику.

К этому времени меня вытребовал жандармский ротмистр на соседний Брянцовский рудник для допроса по Щербиновскому делу. Ко мне заявили на квартиру урядник с полицейским с предложением пойти к жандармскому ротмистру. Итти я отказался, а предложил потребовать от конторы лошадь. После долгих препирательств урядник позвонил к Прядкину, который и узнал, что меня все-таки хотят пригнать. Подали лошадь, и я с полицейским поехали на Брянцовский рудник. Жандарм доложил, и в комнату вышли ротмистр и товарищ прокурора. Начался допрос словесный, без протокола; мне предъявили снимок нашей группы, где был доктор и другие.

Первый вопрос: «Знакомы ли вы с этими, кто здесь на карточке?» Ответ: — знаком так же, как и со всеми; если бы вы потрудились собрать все карточки, какие в тот день были сняты, то на каждой вы найдете и меня. Эта группа, не что иное, как случайность, вот фотограф и снял нас.—

Тов. прокурора пригласил жандарма в соседнюю комнату для совещания, откуда я услышал слова тов. прокурора: «для обвинения нет данных, придется допросить, как свидетеля», и по выходе приступили к протоколу. Протокол оказался очень краток. Так я и отделался. Домой приехал все же с осадком на сердце чего-то недоброго. На утро меня позвал Прядкин; я рассказал ему зачем вызывали. Так дело было улажено.

На руднике у нас освобождалось место акушерки. Прихожу к Прядкину с предложением, что вот, мол, есть акушерка, старая работница, побывавшая два раза в ссылке и т. д. (я имел в виду Машицкую). Прядкин велел дать телеграмму, чтобы приехала.

На третий или четвертый день приехала Машицкая, поступила, и у нас стало еще веселей. Я знал, что Машицкая внесет бодрость. Об японской войне ходили слухи, один хуже другого; русская армия терпела поражение за поражением; недовольство росло.

К нам прибывали все новые товарищи из Екатеринослава, Юзовки, Щербиновки. Рудник стал неузнаваем: контора и штаты все обновлялись; больница стала пунктом небольших собраний, появилась у нас нелегальная литература, издававшаяся за границей. Я получал «Русское Богатство», газеты столичные и харьковские. Моя квартира сделалась сборным пунктом, собиралось иногда человек по 6—7, приходили с разных концов: с Луганска, Юрьевского завода, Петровского и даже Сулинского. Мы старались устраивать прибывающих товарищей на соседних рудниках. Я посылал к Миронову—он заведывал Ирминским рудником; Прянишников посылал на Голубовские, Прядкин на Брянские и т. д. Кругом нас стали образовываться ячейки наших последователей, с.-д. (тогда еще не было разделения на большевиков и меньшевиков, работали под одним флагом Р.С.-Д.Р.П.).

В Юзовке на заводе тоже шла работа; мы завязали сношения с Юзовским районом. Благодаря Прядкину, полиция не придиралась; но зато Глинка исподтишка делал свое грязное дело. Все рабочие, находившиеся в его ведении, были настроены погромно, и нам никак не удалось завладеть ими. Кое-кого мы привлекли из сортировки, а кокосники не хотели

и слушать социалистов. Из плотницкой кто был—мобилизовали на войну. Недовольство войною росло; в печати появились статьи о расхищении жертвованных предметов и т. д. В Белостоке, Варшаве, Лодзи, со всех концов неслись протесты против войны. Донецкий бассейн пока еще молчал. Г. И. Петровский сидел в бахмутской тюрьме, Соколов тоже; жена Петровского переселилась к нам на рудник—стирала белье на больницу.

Больницу заведывал старший фельдшер. Врач приезжал из Петропавловки. Младшие фельдшера были дельные и хорошие товарищи. В Павловской земской больнице тоже были свои товарищи—фельдшер Дикий и фельдшерицы. Из фельдшеров особенно выделялись два брата Либерман. На Юрьевских рудниках из наших были латыши; на Голубовских из рабочих—посланный нами и даже с моим инструментом,—столяр Борисов; на Шубинских—перезабыл всех.

Часто собирались в лесных балках, устраивали дискуссии. Молодежь радовалась и с большим вниманием следила за ходом нашей работы, помогала нам, внося свой молодой задор.

Слух о расколе партии на большевиков и меньшевиков впервые к нам проник с приездом из Екатеринослава трех товарищей: Якова Кравченко, Черненко и Бродского, которые выяснили нам сущность этого вопроса. О себе я скажу, что я долго присматривался и прислушивался к дебатам товарищей, считая, что прежде всего нужно иметь хорошую подготовку и быть активным работником не на словах, а на деле. До 1905 года я работал в обеих партиях; я не отталкивал интеллигенцию, а, напротив, вовлекал ее в работу постольку, поскольку она была полезна для нас. Да и в то время не было большой разницы: большевик или меньшевик, и на дискуссиях одинаково выступали и вырабатывали общие планы по тактическим и теоретическим вопросам, все мы одинаково терпели гнет царизма и капитализма. Стоящие выше нас постепенно отгораживались, и ясно было, что эти люди с нами до поры до времени, но чтобы не порвать окончательно, мы их использовали для нашего общего дела. Я смотрел на это так, потому что знал некоторых товарищей

из рабочих, посидевших в тюрьме, и после этого окончательно порвавших всякие сношения с рабочими.

Помню, как-то раз к нам на рудник приехала барынька—партийная работница, почти прямо из Женевы. Меня позвали к Машицкой; начался разговор про Швейцарию, про раскол партии и т. д. Мне стало известно, что во главе меньшевиков стоял Плеханов, а большевиков—В. И. Ленин. Ей захотелось провести дискуссию по этому вопросу. В один прекрасный день в назначенное время отправились в балку. Беседа затянулась у нас чуть ли не до утра, много говорили, спорили и все-таки пришли к одному заключению, что мы, рабочие, стремимся как можно скорее сбросить ярмо, надетое на нас бюрократическим и капиталистическим строем, и считаем, что Ленин более прав, чем Плеханов, клич большевиков более подходил к рабочим, хотя, быть может, теоретически это еще не совсем разработано, и поэтому мы должны идти «рука с рукой и мысль одна...».

Дискуссии эти много повлияли на нашу работу, многое мы узнали нового об эмиграции, о жизни европейских рабочих и т. д. Думаешь, неужели все это было в действительности? Жизнь тогда была ключом; ни перед какими трудностями не останавливались; сходить на другой рудник, верст за 15, для того, чтоб снести туда новой литературы,—кроме удовольствия ничего не получалось, и усталости не чувствовалось. Не было слышно, чтоб кто из рабочих сказал, что переутомился, устал. До революции 1905 г. все стремились к одной цели.

За работой время шло быстро. Гектограф нас уже не удовлетворял, мы задумали устроить типографский станок. Прянишников заготовил прифт и другие принадлежности. Я, как столяр, сделал кассу для прифта. Во время ремонта дома для приезжих прифт был найден, и рабочие отнесли его в контору, не зная, что это такое. Прядкин постарался его убрать и не дать этому событию ходу, но про это узнал Глинка и донес жандармам. Те как не бились,—ничего не могли сделать. Подозрение пало на Прянишникова; его допросили только, как живущего в доме приезжих; но в дом чуть ли не ежедневно приезжают и уезжают, кто положил—неизвестно. Так дело кончилось ничем.

Мы стали настаивать перед Прядкиным, чтобы он уволил десятника, заведующего дворовым хозяйством. Он был правой рукой Глинки, и за ним числилось не мало грехов, он считал себя неуязвимым, как бывший гвардеец Преображенского полка и кум великого князя Н. Н. Под нашим давлением Прядкин уволил его, — Глинка присмирел; конторщиков-поляков половину выкинули; заведующего складом уволили. Прядкин все более и более забирает власть в свои руки.

Из Щербиновки ожидали переезда Ферета, электротехника, шурина Прядкина; но этому мы были не рады — это был француз буржуазной закваски. До революции 1905 года он как будто имел кой-какое отношение к рабочему движению, но после нашего поражения этот француз, как все, ему подобные, отскочил вправо.

Ключенеско тоже ушел; на его место поступил Федорович — тоже заигрывающий с рабочими и желающий для рабочих лучшие условия жизни, конечно, на словах. Рудник наш ширился и рос: возводились новые здания, подача угля небывалая, новые технические усовершенствования; он стал первоклассным. Прядкин стал большой величиной.

Как-то раз призывает меня Прядкин и говорит: «Собери лучших своих товарищей, возмите лошадей с лесного и поезжайте на Голубовский рудник прямо к училищу, там будет собрание; будут из других рудников, будет там Тан и Латугин». — Мы не заставили себя ждать; я собрал всех желающих ехать, заказал подрядчику подводы и сказал, чтобы вечером были готовы. На больничной лошади поехали Машицкая и еще кто-то; Прянишников и некоторые служащие — на конторской, а мы — на подрядческих; никто из посторонних не знал ничего, все это делалось конспиративно. Нас, рабочих, собралось человек 12—15. Прядкин уехал раньше. Кроме самих голубовских рабочих, были также с Ирминска с Мироновым во главе.

Собрание открыл Прядкин с речью о положении промышленности, о наступающем кризисе, благодаря затеянной никому ненужной войне. Затем предложили высказаться рабочим. Выступал тов. Борисов, и в бесхитростной, но горячей речи охарактеризовал положение рабочих, в особенности руд-

ничных, их социальное и экономическое положение; господ инженеров, которые, говоря сладкие речи, в то же время жмут рабочих и т. д. Рабочие наградили своего товарища долгими аплодисментами. Потом выступил тов. Тан, который говорил с большим подъемом о беспросветной жизни рабочего люда и т. п., в заключение сказал, что как бы правительство не подпирало своды своего здания штыками, но оно скоро рухнет и похоронит себя под этими развалинами, и что русский пролетариат должен сбросить с своих могучих плеч прогнивший бюрократический мир. И Тана мы наградили овацией. Потом спели несколько революционных песен. Тан и Латугин пожали мне крепко руки, как старому работнику, потом Машицкой. Наши инженеры: Прядкин, Миронов, голубовский инженер (фамилию забыл) подходили и пожимали нам руки. Тан, обратясь к Латугину, сказал: «мы в Сибири, в ссылке, все были в восхищении от этого старичка, когда весть прокатилась по всей Сибири, что наконец-то наш рабочий просыпается, а помните, что тогда Катков написал о нем» — Латугин говорит: — как не помнить. Так мы распростились и уехали, а Прядкин и Прянишников остались. Товарищи мои были очень довольны нашей поездкой. По приезде с Голубовского рудника мы собрали всех рабочих и рассказали им, что было.

Близился пятый год. Революционное настроение все ширилось и крепло. К нашему кружку примкнуло несколько женщин и одна девушка — работница.

Осень и зима 1904 года проходили в занятиях и чтении книг и газет. Пробовали взрывчатые вещества для приготовления бомб — это специально взял на себя Прянишников, но изготовить не мог, не знаю почему, да тогда это и не нужно было. Все шло мирно вплоть до 9-го января 1905 г.

9-е января всколыхнуло всех рабочих и служащих, все были поражены неслыханным злодейством царя. До нас пока доходили смутные сведения об этом злодействе, но мало-помалу стали приезжать из Москвы, Харькова и даже Питера. Рассказы приезжих о расстрелах рабочих вызвали и нас на протест: мы решили забастовать. Среди нас были новые лица из Питера, так как в то время были закрыты высшие учебные заведения, — все подробности были нам известны.

Забастовка была объявлена; рабочие перестали работать; мы тоже закрыли свой склад. Отправились по квартирам. Лишь только успел напиться чаю, за мной прислали товарищи, чтобы я шел к механической мастерской. В мастерской уже собрались все мастеровые. Началось обсуждение, как использовать забастовку: как политическую, без экономических требований, или потребовать от администрации удовлетворения требований, которые накопились у рабочих. После небольшого обмена мнениями решили потребовать все, как-то: улучшение жилищных условий, проведения водопровода на поселок, разрешение базара, улучшение санитарных условий, удаление подрядчиков и передача работ артелям и т. д. Когда мы разрешили этот вопрос, мои товарищи, — Я, Кравченко и Бродский заявили, что они, как передовые рабочие, отказываются участвовать в ведении забастовки. Я потребовал указать мотивы отказа. Кравченко заявил, что у него будущее, он хочет учиться; Бродский — так себе. — Ну, хорошо, у тебя будущее, а моего прошлого вы не считаете; ведь, если меня арестуют, то уж меня во сто раз больше накажут, чем вас. Если вы не хотите, то прошу вас удалиться и не мешать мне и другим, у которых шкурного вопроса нет и быть не может. — Мои товарищи, видя такое положение, отказались от своего заявления и решили принять участие в ведении забастовки.

Таким образом, у нас создался стачечный комитет из 7-ми лиц. Председателем избрали Кравченко с условием, что я буду совместно с ним работать. Затем мы вышли к рабочим, которые нас ожидали. Кравченко поверхностно обрисовал всем рабочим-шахтерам смысл нашей забастовки. «Забастовка, — говорил он, — есть протест против царского произвола и расстрела товарищей — рабочих в Ленинграде, которые погибли за то только, что они шли к царю просить, как дети отца, защитить их от эксплуатации капиталистов» и т. д. Потом я объяснил положение, в котором мы находимся. Обрисовав все те недостатки, допущенные администрацией на руднике и не обращавшей никакого внимания на жилищные и санитарные условия, я спросил, желают ли рабочие подать такое требование администрации рудника. Все выразили согласие. Тогда мы решили позвать к народу Федоровича (Прядкина на руднике не было), и вручить ему требование.

Федорович, приняв требование, выразил неудовольствие по поводу неправильного постановления. Он говорил, что не все рабочие за это требование, следует опросить рабочих, кто за него и кто против и т. п. Мы согласились проверить, и предложили ему высказаться. Федорович взобрал на помост (который служил нам трибуной) и обратился к рабочим с речью. По словам Федоровича, здесь не все недовольны, найдутся люди, которые и довольны, и т. п. После Федоровича выступил я, сказав, примерно, что, если Федорович нам не доверяет, то прошу вас показать Федоровичу наглядно, насколько мы правы. Все тех, которые за наше требование, прошу перейти на эту сторону ж. д., а те, кто недоволен, пусть остаются на мосту. Лишь только я договорил последние слова, как все перебежало на другую сторону, — оставалось пять человек конторских служащих. Федорович сел в галюшу, но за то я не пожалел красок обрисовать перед рабочими холопские душонки пресмыкающихся конторщиков и подрядчиков, считающих себя выше рабочих. Фельдшера, под влиянием Машинской, шли вместе с рабочими, в особенности среди них выделялся Шайтлендер.

На другой день забастовки приехал Прядкин, который повел дело к соглашению: на все требование было дано согласие. Прядкин прямо указал, что забастовка — это протест против того, что произошло 9-го января, а наши с вами конфликты мы всегда сумеем уладить. Мы заявили свое согласие, и взяли с Прядкина слово, что все будет улажено.

Но черная сотня во главе с Глинкой и подрядчиками не преминула проявить своих действий. В единственной пекарне на руднике было выбито несколько стекол. Благодаря нашему давлению на полицию, были приняты меры унять хулиганов.

Вечером на второй день забастовки, сидя в квартире Пахуцкого, мы слышали шум и крик. Вышли на улицу и видим, что из артелей подрядчиков высыпало человек полсотни и начали орать и буяннить. Я пошел к рабочим — шахтерам, которые так юрали, что ничего нельзя было разобрать. Я вошел в одну кучку и начал говорить, — все смолкли, только изредка кое-где выкрикивали. Я прямо спросил, в чем дело. Мне ответили, что со второго номера пошли на работу, и

т. д. Я разъяснил им, на каких условиях было сделано соглашение и, если они не согласны с этим, то мы завтра же попросим добавить, и дело будет улажено, а теперь ночь и не хорошо делать скандалы, на нас, рабочих, будут смотреть, как на буйнов и т. п. Речь подействовала. В это время откуда ни возьмись — казаки с нашим урядником во главе. Я крикнул: «расходитесь по квартирам». Все живо разбежались, — осталось нас человек пять. Казаки остановились. Урядник наш говорит сотнику, что вот этот (указывая на меня) имеет большое влияние на рабочих. Я уряднику говорю: «Да, когда рабочие здесь кричали, орали, то вас ни одного не было и вы не видите, что все это дело рук подрядчиков, которые недовольны тем, что ст. них хотят отнять подряды, вот они и науськивают рабочих на безобразия, а вы не хотите этого видеть». Казаки, ни слова не сказав, тронули и поехали дальше. Когда я возвратился на квартиру Нахуцкого — все набросились на меня: как я осмелился пойти ночью в толпу, ведь могли убить и т. д. Я засмеялся и говорю: «Ну так что же, убили бы и только; надо быть хладнокровным и уметь обходиться с возбужденным народом, а если бы я сидел все тут, то могло случиться многое и, кто знает, может было бы и так, что многие пострадали бы ни за что, ни про что».

На утро все уже шли на работу, все было спокойно и тихо. Я пошел на склад часов в 11, зашел к Машицкой, рассказал ей про вчерашнее и про казаков. Маша возмутилась появлением казаков на руднике, так как Прядкин заверял, что он не допустит до того, чтобы у него на руднике были казаки. Маша не вытерпела и пошла к Прядкину объясняться. Прядкин ей сказал, что он ничего не знал о появлении казаков, и постарается это разузнать.

Атмосфера все сгущалась, чувствовалось, что что-то должно произойти. Газеты приносили все новые и новые известия, всюду организовывались. Не преминули и мы создать союз рабочих, без конторщиков и прихлебателей, которые показали себя во время забастовки. Мы организовали союз рабочих, в который входили исключительно рабочие и медицинский персонал и некоторые из десятников, хотя далеко не все. Мы энергично занялись печатанием и

распространением по соседним рудникам прокламаций и листовок.

Весною и летом 1905 года у нас на руднике, да и кругом по рудникам шла усиленная пропаганда. Газеты приносили известия день ото дня тревожнее. Все были взвинчены; в особенности нас поразило избивание рабочих и детей в Иваново-Вознесенске. Мы решили запастись оружием, кто чем мог; выписали штук 20 револьверов разных систем. Мы ясно видели, что черная сотня под покровительством полиции собирается учинить погром; нам было известно о их собраниях в помещении урядника. Восстание матросов на «Потемкине» влило в наши ряды много бодрости. Мы каждую неделю устраивали собрания в балках, меняя место каждый раз. Рабочие день ото дня охотнее шли на наш призыв. Чаще стали к нам приезжать из Екатеринослава с литературой, прокламациями и листками; мы не давали залеживаться: живо распространяли по другим рудникам. Трудно теперь вспомнить все то, что тогда происходило; помню одно, что редкий день проходил без того, чтобы не быть где-либо на собрании и не засиживаться чуть ли не до утра.

Помню, в августе 1905 года со стороны служащих было предложено созвать общее объединенное собрание, на что мы согласились, и назначили день собрания в школе. Собралось народу очень много. Когда был поднят вопрос о назначении председателя для данного собрания, то со стороны служащих последовало — назначить Глинку. Мы на это не согласились, потребовали выбрать другого. Фельдшер Шейтлендер предложил Машу. Поставили на голосование — громадным большинством была избрана Маша, а секретарем техник (забыл его фамилию).

Собрание открылось. На повестку дня поставлено: 1) объединение союзов; 2) протест против зверства полиции и казаков и 3) текущие дела. Повестка была принята большинством. Глинка со своей компанией выступил против обсуждения 2-го пункта повестки. Голосовали — большинство было на нашей стороне. Маша выступила с речью против соглашения с конторщиками и служащими, интересы которых далеки от интересов рабочих, и кроме вреда ничего

не принесут рабочим: «пусть они примыкают к своим союзам и не мешают нам вести чисто пролетарскую работу» и т. п. Против—выступил Глинка, доказывая, что рабочие, как мало развитые, не смогут повести дело так, как поведут его более опытные люди.

Предложение Машицкой было поддержано мной и Шейтлендером; оно было принято почти единогласно. Глинка, видя такое положение, переговорил со своим десятником что-то, тот вышел. И вот, как только начались дебаты по поводу протеста против зверств правительства, направлявшего полицию и казаков на безоруженных рабочих, появилось в коридорах и зале масса кокосников. Эге, думаю,—Глинка готовится дать сражение. Но, посмотрим, что будет.

Машецкая мастерски обрисовала весь гнет правительства против рабочих, крестьян и, в особенности молодежи; с возмущением она говорила, что за все страдания рабочих и крестьян хотят дать какую-то куцую конституцию, предложенную Булыгиным; позор для народа, таких конституций мы не желаем, и т. п.

Я задал вопрос председателю: «скажите нам, тов. председатель, что же смотрит царь и для чего он существует?»—Со стороны послышались возгласы:—царя не трогать.—Машецкая попросила успокоиться и начала крыть кровавого Николая за все его кровавые подвиги и разнузданность. Со стороны черной сотни послышались крики:—долгой, это что такое!—С нашей стороны аплодисменты и крики:—просим.—Машецкая попросила успокоиться и предложила высказаться рабочим, как они смотрят на это.

Рабочий Травинин выступил и начал говорить о трудности работы при тех условиях, какие существуют; он требует введения 8-ми часового рабочего дня и т. д. Потом выступивший тов. Шейтлендер начал клеймить позором черносотенников. Поднялся опять шум. Для успокоения—кто-то вызвал Прядкина, но у него болели зубы и он ничего не мог сказать. Разошлись все в возбужденном состоянии, но столкновений не было.

На другой день собралась черная сотня, которая потребовала у Прядкина отслужить молебен за здоровье царя-батюшки. Прядкин разрешил. На молебен собрались бабы,

дети и шайка черной сотни. Наша организация, в свою очередь, потребовала у Прядкина: или окончательно, в корне, пресечь организацию черносотенников, или мы все уйдем. Прядкин предложил, пока все это выяснится,—подождать, но кой-кому, говорил он, придется на время выехать, потому что не сегодня—завтра произойдет погром. Насколько ему известно, погром организован правительством, и кое-кому угрожает смерть; тем, которые уедут, он даст аванс по 100—200 руб. Мне и Машецкой пришлось выехать на Ирменский рудник как раз в самый разгар погрома в Павловске. Молодежь наша вся осталась, вооружившись револьверами, и нагнала страху кой-кому из черной сотни, заявив, что если они хоть одного затронут, то будут перебиты все.

Вся полиция и казаки открыто были на стороне погромщиков, но Прядкин не допустил на рудники последних, и погром прекратился. Вскоре Прядкин был вызван в Екатеринослав к губернатору, и там получил нахлобучку. Дрожа за свою шкуру, он с этого времени переменялся и весь его демократизм пошел на смарку. Черная сотня нажала на Прядкина, да так, что Прядкин не выдержал и должен был по их настоянию расправиться с нами. Некоторые из нас должны были уйти на время, а Прянишников, я и Машецкая—навсегда, хотя не сразу.

Меня Прядкин послал на завод «Сулин», обещая там устроить; директор этого завода был ренегатом и боялся нашего брата. В «Сулине» я не получил работы и вернулся обратно. Мне дали письма на Рудчинковы рудники (французская компания), близ Юзовки. Здесь я поступил на работу.

На Рудчинковых в то время стояли драгуны; рабочие были придавлены, но за то подпольная организация работала. Я скоро вошел в организацию, все силы которой были направлены на получение литературы и газет. Я написал тогда в Харьков И. П. Белоконскому и стал получать харьковскую газету; Юзовка получала: эсеровскую—«Сын Отечества», полтавскую—«Социал-Демократ», меньшевистский журнал—«Мир Божий», большевистский—«Нашу Жизнь» и другие. На нас лежала прямая обязанность: распространить их и, где можно, читать и разъяснять, что мы и делали.

Особенно выделялся в этом отношении один товарищ из электрической станции—дельный и смелый, остальные были очень осторожные и мало деятельны. Здесь я немного позабыл и кое-что, быть может, упустил, или забежал вперед. Прошу товарищей, знавших ход событий первой революции, пополнить и исправить неточности. Помню, около этого времени, в ноябре или декабре, мне принесли «Акафист Сергею Каменноостровскому чудотворцу» Амфитеатрова, который я широко использовал. Читал я его на церковный мотив и приводил всех слушателей в восторг, даже таких заведомых черносотенников, как десятники и т. п. При всеобщей забастовке с нашего рудника были прогнаны драгуны, их заменили казаки, с которыми мы скоро завели связи, сначала посредством газет, а потом и устной беседой. Казаки ходили ко мне на квартиру группами, брали газеты, брошюры, листки; иногда приходилось устраивать вечеринки и т. п. вещи.

В Донецком бассейне прекращено движение на ж. д.; мы отрезаны от всего; до нас не доходят никакие сведения. В Юзовке образовался комитет рабочих; грузы выдавались только с разрешения комитета. В это время мне приходилось разъезжать по другим рудникам, проводить митинги. С Карповских приезжал за мной Михайличенко, на Прохоровские посылал Комитет, на Рудчинковых на 2-м № наша организация; товарищей, могущих выступать, было мало, поэтому приходилось столько разъезжать. Были товарищи молодые, горячие и часто случалось, что выступающих избивали. Так было на Карповских рудниках и такое избивание подготавливалось на Прохоровских. Помню, как на Прохоровских рудниках артель пьяных грузчиков все время задавала вопросы:—надо ли царя или не надо? Когда им разъяснили, что такое конституция и насколько она помогает управлению государством, тогда грузчики накинудились на подрядчика и давай его ругать за то, что он их подстрекал устроить избивание ораторов. Таких инцидентов было масса; приходилось быть очень и очень осторожным.

Когда Юзовка была объявлена на военном положении, черная сотня подняла голову еще выше. Помню, как в типографии Зозули наборщики отказались набирать приказ,

объявлявший военное положение. Мы свой комитет распустили, все убрали. На рудниках притихли; вдоль железной дороги разъезжали патрули и стреляли в проходившие поезда; собирались боевые дружины, и местами происходили стычки с казаками и драгунами. В особенности сильно проявились стычки в Горловке, где было масса убитых и раненых. В числе раненых оказался наш Шайтлендер (фамилию его никто не знал, а просто звали его Кузнецовым—об этом мне рассказывали товарищи).

События за событиями чередовались с удивительной быстротой, и упомянуть всего не было никакой возможности. В подпольи работа кипела; Юзовка, как центр, давала тон, направление всей работе, несмотря на преследование и аресты. С заводскими рабочими у меня была непосредственная связь, так как там были мои старые знакомые: т. т. Гурьев и Петренко. Через них я входил и в другие кружки. Еще был у нас общий знакомый армянин, Карп Павлович. Он держал кофейню на главной улице, где мы часто встречались с новыми товарищами. Карп был настолько осведомлен, что знал почти каждого шпиона и всегда предупреждал, знаком указывая, чтобы были осторожны.

В этот период были у нас конференции, где обсуждались разные планы работ, подготовка выборов в 1-ую Думу, о выписке литературы, а также об использовании предвыборных собраний. Больше всего было собраний в Юзовке среди рабочих на рудниках, и проводились эти собрания исключительно подпольно. Карательные отряды, о которых приходилось читать и слышать, наводили уныние. Все ждали возвращения армии из Манджурии и надеялись, что она поможет. Небылицы распространялись в народе с небывалой быстротой.

Как бы то ни было, время подвигалось, и назначены были выборы в первую Госуд. Думу. С нашего рудника должно было быть выбрано три человека. В назначенный день стал собираться народ со всех №№ рудника к рудничной школе. Со мной было несколько товарищей. Мы сейчас же занялись агитацией среди разбившихся на кружки рабочих. У меня был номер газеты «Социал-демократа», издававшегося в Полтаве, который я и использовал, собрав вокруг себя большинство рабочих. Рабочие, слушавшие чтение, были несколько

увлечены, что их прямо поражало все то, о чем написано и что говорится. Многие из них себе никогда не представляли, что можно открыто говорить и писать такую газету, и они с жадностью слушали и ловили каждое слово. Из механической мастерской пришли все гурьбой и тоже остановились послушать. Один из них попросил у меня газету. Я подал ему газету, а сам начал говорить о том, для чего мы собрались и что нужно делать, кого выбирать и т. п.

Вспоминая теперь все прожитое, я не помню ни одного, кто бы выступал под лозунгом социалистов-революционеров, — все спланивалось вокруг Р. С.-Д. Р. П., в которой тоже не было розни на большевиков и меньшевиков, все работали совместно, помогая друг другу.

К собравшемуся на дворе народу пристав обратился с речью, в которой он указывал, что следует избрать людей достойных, прослуживших на руднике долгое время и не замеченных ни в каких деяниях и т. д. По окончании его речи я делаю заявление приставу, что здесь собрались выборщики и не нуждаются в присутствии полиции, и также попросил его дать нам место и помещение, где мы должны избрать из своей среды председателя данного собрания и провести выборы. Пристав спрашивает: «Для чего все это? Выберите председателя, он вам укажет, кого выбрать». Я говорю: «Кого же мы выберем, если мы не знаем друг друга и не знаем где он работает?» — «А вот, выберите этого человека — он достойный: работает давно, мастер». Выступает мастер и говорит: «Я работаю 15 лет, и живу, слава богу, и по сие время. — Вы работаете 15 лет, а я работаю 45 лет, вот потому и требуется прежде всего нам собраться в помещение, а не на дворе, и попросить полицию удалиться и не мешать нам». — Товарищи закричали: «правильно, полицию удалить!» Пристав, видя такое положение, распорядился пропускать в помещение по списку, составленному в конторе. Я подумал, что меня могли не занести в списки, как не проработавшего шести месяцев на данном руднике. Пошел к табельщику узнать, оказывается — внесен.

Когда все собрались, я предложил прежде всего избрать председателя, разъяснив предварительно собранию значение этого избрания и составления протокола об избранных.

Единогласно был выбран я. Поблагодарив за доверие, я попросил избрать секретаря, и предложил в секретари конторщика, своего товарища. Собрание было согласно, но пристав запротестовал и не пропустил товарища на собрание, сказав нам, что на нашем собрании может присутствовать только инженер. Тогда мы попросили пропустить инженера (в то время он считал себя с.-д.), который и вошел на наше собрание, заняв место секретаря. Попросив притворить двери и не впускать полицию, я обратился к собранию с речью, в которой прежде всего коснулся рабочего движения в прошлом году. Говорил я о том, как рабочие шли к батюшке-царю просить защиты от ненасытных заводчиков и фабрикантов; как царь-батюшка угостил рабочих свинцовой кашей; как рабочие воочию увидели, что царь палач, а не защитник народа; как народ восстал и потребовал дать права народу, дать конституцию; и вот дали нам конституцию купчую и предлагают выбрать своих представителей и послать в Думу и т. д. Говорил много, и ясно видел, что захватил всех и все. По окончании речи предложил высказаться желающим. Выступил один товарищ из механической мастерской. Говорил он о том, как люди страдали на манджурском фронте, сколько там легло, а за что, про что — неизвестно. После выступали и другие. Каждый старался высказать свое злое несчастное горе. Собрание затянулось. Наконец, выставили кандидатов. Первая кандидатура выставлена была моя. Мне пришлось свою кандидатуру снять, так как она могла быть опротестована (на собрании я этого не касался, а выставлял другие причины). По моему указанию собрание выбрало депутатов.

Сделали маленький перерыв. Разбрелись группами. Вдруг инженер отзывает меня в сторону и говорит, что пристав справлялся обо мне, не тот ли это Моисеенко, который создал «морозовскую» стачку в 1885 году. «Мне кажется, что это он; ведь я в то время служил агентом, и я нахожу сходство и по росту и по голосу». Инженер ответил, что ничего не знает, что я у него служу десятником на угле и только. Я торопливо кончил и распустил собрание. Составив протокол, я отправился в главную контору вручить его для отсылки в выборную комиссию. В главной конторе меня окру-

жили и просили рассказать, как проходили выборы. В коротких словах я передал им кое-что, торопясь отделаться. Из конторщиков двое были с.-д. Я им передал историю с приставом. Решили, что надо принять меры.

На другой день мне сообщили, что пристав решил во что бы то ни стало арестовать меня. Инженер уехал по делам; заменяющий его штейгер посоветовал мне немедленно удирать. Через полчаса я получил выписку на расчет, которую должен подписать урядник, находящийся на шахте. Урядник подписал (кроме пристава никто об этом не знал, все это делалось секретно). В главной конторе мне тоже помогли и живо выдали расчет. Теперь нужно было взять документ, который находился в канцелярии у пристава. Я взял с собой своих товарищей-рабочих и пошел в канцелярию. Подал секретарю ордер на получение документа. Секретарь попросил обождать, а сам пошел к приставу. Вскоре он вернулся и, ничего не говоря, выдал документ. Я осмотрел, не написано ли что в документе, — нашел только заметку, сделанную карандашом: — не выдавать. Ну, это пустяки. Сообщив жене, что за ней приедет кто-либо из товарищей, я отправился на Калачевские рудники к инженеру Б. Соколову, который долго отнекивался, и, наконец, принял меня в плотницкую мастерскую, где и остался работать. Временно дали квартиру в общей семейной казарме; вскоре приехала старуха с нашим барахлом.

На Калачевских работа была неважная; организаций почти не было: — два, три человека, да и то мало сознательных. Пришлось создавать кружки, спланивать рабочих, заняться их развитием и т. д.

В первый же воскресный день я с женой отправляюсь в Юзовку за продуктами и литературой. В Юзовке встречаю свою знакомую бабу, которая осталась на нашей квартире на Рудчинковых. Баба рассказала, что после нашего отъезда квартира была окружена казаками и полицейскими с приставом во главе. Сказали, что я в Юзовке. Но все же ее старика забрали в полицию, спрашивали, кто ходил и, не добившись ничего, отпустили его. Пристав клялся перед полицейскими — не он будет Осетров, если не арестует меня и т. д. Арестовали только инженера. Встретил еще кое-кого

из рабочих, которые ничего не знали и просили приходить к ним.

Взяв кое-какую литературу и вручив ее жене, мы отправились восвояси. На Калачевских отвели мне комнату на дворе кучеров и конюхов, где можно было кое-чем заняться. Вскоре приехал брат инженера Соколова Сергей и что-то привез из литературы, благодаря чему мы быстро организовали кружки. Выписывали газеты и подумали устроить клуб при школе, но это осталось только пожеланием, потому что рабочие решили отпраздновать первое мая, а это сопряжено было с забастовкой, иначе не могло быть. Накануне мы уговорились выйти всем на работу и объявить, что сегодня наш праздник — первое мая. Условились дожидаться ночной смены и собраться всем вместе на 15 № и там провести митинг.

Настал день 1-ое мая. Из плотницкой мастерской вышел только один я, остальные пока еще оставались на работе. Я с несколькими товарищами и рабочими вышел на площадь, против больницы, образовали круг и стали поджидать народ. Нам разъяснили, что мы собрались как раз на динамитном складе и нас может взорвать, тогда мы отошли вглубь поселка. Народу собралось уже порядочно, пришли и из мастеровых. Митинг я открыл с речью к шахтерам, в которой указал на их каторжный труд и полуголодное существование; я предложил потребовать восьмичасового рабочего дня и пр.; потом прочел одну из статей в газете, как люди добились лучшей жизни, организовавшись в союзы и в коммуны. После меня выступал молодой паренек, потом и другие. Наконец, пришлось поставить вопрос об эксплуатации рабочего тем же рабочим, т.-е. подрядчиком, артельщиком в подземных работах, а также и на поверхности. Поступили заявления от рабочих хозяйственного двора, а за ними еще и еще. Экономических требований набралась целая уйма, и первая забастовка превратилась в забастовку экономическую. Пришлось требовать удовлетворения по всем пунктам.

На предъявленные требования администрация ответила отрицательно. Начались переговоры по всем вопросам. Вот тут и сказалась вся правда: господа инженеры, называю-

щие себя с.-д., показали, как они не только далеки от социализма, но и враждебны всему тому, что они, якобы, исповедывали. Как мы ни старались указать на вопиющие несправедливости, бьющие не в бровь, а прямо в глаз, нам отвечали одно, что все это они понимают, но сделать что-либо не могут. «Вот если бы забастовали все рудники всего бассейна,—заявили они,—тогда бы мы все сделали, и разницу переложили бы на уголь, а два-три забастовавших рудника ничего не значат, скорее синдикат соблазнится закрыть рудники, чем удовлетворить ваши требования». Мы, с своей стороны, указывали на ненормальности, существующие на руднике, находящегося всецело в ведении заведующего, который вправе сделать так, как лучше и т. п. Но наши доводы ни к чему не привели, кроме обещаний подумать и сделать, когда им заблагорассудится.

На 3-й день забастовки явились на рудник драгуны. Везде было тихо и по руднику никакого движения не было. Мы с товарищем прошли по руднику и заметили, что возле одной казармы собралось несколько человек. Мы подошли к ним, ничего не подозревая, и не успели сказать двух слов—видим: прямо к нам едет верхом урядник. Товарищ мой, кузнец, поступил за три дня до 1-го мая, его никто не знал. Урядник к нему:—«вы что здесь, зачем? вы не с нашего рудника?». Я говорю уряднику, что это кузнец из механической и такой же работник, как и мы. «Знаем вас, какие вы работники». В это время подбегает один из шахтных подрядчиков и ударяет кузнеца. Тут я уряднику:—«что же вы смотрите?—если он вам подозрителен—возьмите его». Урядник взял товарища, а я, видя, что дело не ладно, пошел за казарму, оттуда скорее в другую, в третью и, наконец, в квартиру плотника. Только рассказал ему о случившемся—видим: на дворе толпа человек 25—30 бежит и ищет кого-то. Плотник притворил двери в квартиру, а сам вышел на улицу. Толпа искала меня, и, оббегав кругом и видя, что никого нет, пошла в свои казармы, а я, посидев еще с час у плотника, пошел в квартиру штейгера.

Штейгер ничуть не удивился, когда я ему рассказал, что было. Для нас стало ясно, что не будь на руднике дра-

гун, эти черносотенники не посмели бы так буяннить, а также и урядник, он боялся нос свой показать, а теперь храбрый стал. Обсудив со всех сторон этот вопрос, мы решили, что мне показываться рискованно,—«всего лучше пусть оставшиеся товарищи ведут дело, а тебе на время уйти в Юзовку»—посоветовал мне штейгер.

Из квартиры штейгера я отправился напрямик в Юзовку. Прежде всего зашел в кофейню к Карпу разузнать, что и как. Карп мне рассказал, что у них были аресты накануне 1-го мая. 1-ое мая у них работали. Собрание было нелегальное где-то далеко от Карпа. Поговорив с Карпом, я отправился к Гурьеву. Дома я застал его жену, с которой мы, напившись чаю, пошли на завод встретить Гурьева. Навстречу попался нам молодой Петренко Григорий, который просил зайти к нему на квартиру; немного погодя вышел и Гурьев. По дороге он мне рассказал, как было у них первое мая и почему не удалась забастовка. «В Юзовке,—рассказывал мне Гурьев,—накануне 1-го мая арестовали Закса и некоторых членов Комитета, а также и кое-кого из заводских рабочих. Полиция всю ночь ходила по заводу, а утром у всех ворот стояли полицейские и около них члены «Союза Русского Народа». При таком положении вещей мы никак не могли убедить рабочих бросить работу, бастовать же одному цеху не было никакого смысла». Вечером мы пошли к Петренко. Там я узнал, что на Рудчинковых решили 15 мая устроить митинг и просили, если кто знает, где находится старик, т.-е. я, передать, чтобы я пришел и не боялся,—арестовать не дадут: казаки все на стороне рабочих—они то и просили, чтобы был старик.

Переночевав в Юзовке, на другой день вечером явился на Калачевские рудники. На квартире у меня все было спокойно; от жены я узнал, что ко мне на квартиру приходил кузнец, взял свои вещи и сказал жене, что уходит. На утро я вышел на работу. В плотницкой мне объявили, что я, отработав две недели, увольняюсь за сокращением штатов. Хорошо, жду, пока инженер Соколов придет в главную контору. Часов в одиннадцать иду в кабинет Соколова. Соколов спрашивает:—ну, что скажите?—Я спрашиваю, «на каком основании вы меня увольняете?»—Он начинает ви-

лять хвостом, что, мол, это приказание свыше и т. д. К чему обманывать себя?—других вы не обманете,—говорю я ему,—не лучше ли сказать прямо, что вы увольняетесь, как непригодный нам человек, получите за две недели вперед, и делу конец. Соколов обрадовался:—«пожалуйста, получите за две недели, а в квартире живите, пока найдете дело». — Спасибо, избави бог от таких друзей, а с врагами мы сами справимся — и вышел из кабинета. Пришел в мастерскую, собрал инструмент и распростился с товарищами.

К вечеру этого же дня отправился в Макеевку. В Макеевке на Софиевском руднике работал Николай Порошин, — я к нему. У него дела никакого не оказалось, а дал мне письмо на Григорьевские, куда я и пошел. Там тоже положение оказалось таким же. Так я проходил до 10-го мая. 10-го пошли мы с женой в Юзовку; жена осталась там, а я отправился на Рудчинковы с двумя товарищами. Пришли туда, там уже митинг собрался; проводил митинг один из товарищей с Юзовки, еврей, фамилию его я забыл. Меня сейчас же впустили в круг и я стал рядом с оратором. Помню, как товарищ неудачно коснулся попов и религии, пришлось одернуть и взять слово. Исправить ошибку товарища было легко: стоило только подойти с другого конца, и мне это удалось быстро. Публика насторожилась, когда я напомнил ей, что сегодня день открытия Государственной Думы, где их избранники соберутся; но за то, что их выбирали в Думу, многие из выбиравших товарищей арестованы и по сей день томятся в тюрьме. В это время подъезжает пристав и хочет пройти в круг,—народ сгрудился, оттер пристава, пока я не кончил. Пристав, как только увидел меня, весь налился кровью и выпучил глаза, сел на дрожки и уехал. Через 15 минут он снова появился с полицейскими. Мы уже решили идти на 9-й № и там соединиться с карповскими рабочими. Всей массой, тысячи две человек, с песней «смело, товарищи, в ногу» двинулись вперед.

Шествие представляло чудную картину по тогдашнему времени. Весь народ был в приподнятом настроении. Чтобы придать более боевое настроение, я взял большой красный платок, который был со мной, прикрепил его к палке, хлоп-

цы подхватили его у меня и, подняв высоко, двинулись вперед к переезду к ж. д. Перейдя дорогу, у насыпи Глея остановились и снова открыли митинг. Пристав и несколько полицейских верхом следовали в отдалении; от Рудчинкова рудника показалась пыль, а через две-три минуты видно было, что скачут казаки,—флаг мы сейчас же убрали и продолжали говорить. Казаки подлетели вплотную к народу, спешили и слушают оратора. Так они постояли несколько минут, потом мигом сели на коней, и марш обратно. Пристав им вдогонку что-то кричал—они ноль внимания и ускакали. Приставу ничего не оставалось делать, как и самому уехать, оставив лишь несколько полицейских, и то на почтительном расстоянии от карповских рабочих. Прибыл посланец с сообщением, что идут карповские. Мы тронулись к ним навстречу, и, подходя друг к другу, рабочие карповцы подняли своего товарища оратора на руки, наши тоже своего подняли; поднесенные друг к другу ораторы обменялись рукопожатиями и после этого открыли общий митинг. Первым сказал речь карповский, потом наш рудчинковский, потом выступила юзовская девица и, еще не усвоившая хорошенько, как выступать перед большим собранием, сконфузилась так, что оборвала чуть-ли не на полуслове. Пришлось и тут выручать. В своей речи мне пришлось уделить много времени положению женщины, как работницы, матери-хозяйки. По окончании речей сделали сбор в пользу семей арестованных товарищей. Меня пошли провожать рудчинковские товарищи до передаточной станции; с рудника нам дали паровоз «кукушку» и мы все прибыли на рудник, оттуда в Юзовку.

На другой день мы с женой отправились на Калачевские. У себя дома я встретил Сергея Соколова, который мне сказал, что он видел Прядкина. Последний уехал в Харьков и, как только возвратится через неделю, просил зайти к нему.

Через некоторое время меня попросили очистить квартиру. Я поехал в Алмазный район, где встретился с некоторыми товарищами, которые посоветовали пока поселиться в Алмазном поселке и заняться частной работой. Я подыскал себе квартиру и переехал в Алмазную.

На новой квартире я устроил под навесом верстак и начал работать, что придется. Раз как-то встречаю двух товарищей, поступивших недавно на завод; они и говорят: «вот хорошо, что вы здесь, а то у нас некому провести собрание, а народ очень хотел-бы». — За чем дело стало? Собирайтесь, за мной остановки не будет. — Указав им свою квартиру, мы разошлись. Тем временем вспыхнула забастовка на Бельгийских рудниках. На этих рудниках служил в конторе тов. Пахуцкий, который прислал за мной, чтобы я приехал непременно. Я сажусь на первый поезд и еду до Иранского разъезда, оттуда иду к Пахуцкому, — оказывается, некому проводить забастовку. Вечером мы пошли в казармы рабочих, где все разузнали, а на утро вышел на указанное место, и два дня руководил забастовкой. Ночевал я у Пахуцкого, а обедал, где приходилось.

Вечером другого дня мне передает Пахуцкий, что надо уходить, а то пристав хочет меня арестовать, да только не знает, откуда я явился. «Я, — говорит Пахуцкий, — сказал приставу, что это газетчик, торгует по рудникам газетами». Я решил, что рано утром я балкой пройду к 13-й роте, перейду там Луганку и выйду к Ирманскому разъезду. Так я и сделал — раненько утром ушел, и делу конец.

Через час я уже был на Алмазной и принялся за свое дело; работа была хотя и не особенно спешная, но без дела не сидел. Через несколько дней приходят ко мне товарищи с Алмазного завода и заявляют, что у них готово, могут собраться. — Хорошо, у вас готово, а я всегда готов; когда соберетесь, — придите за мной и пойдем.

На другой день перед вечером пришли за мной, и мы пошли к месту, где назначено было собрание. Народу собралось немного, решили подождать. Народ начал прибывать; пришли и заводские рабочие. Когда собралось около ста, или более, человек, открыли собрание.

Так как это было первое собрание, пришлось объяснить цель нашего собрания и дальнейшее его развитие, причины тех ненормальностей, которые существуют в данный момент. Речь моя захватила слушателей, да и сам я был в ударе, потому что в этом уголке еще не раздавалась живая речь. Когда к концу моей речи подошел надзиратель

Алмазного района, рабочие сгрудились вплотную вокруг меня и закрыли от взоров надзирателя, к тому же было уже темно, и я спокойно кончил речь и все разошлись. Меня опять проводили вплоть до дому. На другой день приходят товарищи и говорят, что рабочие просят прийти, так как собирается вся смена в другом месте. Они обещались собрать всю дневную смену и кто-либо зайдет за мной. Так и было. Когда мы пришли на назначенное место, около кирпичных сараев, там уже было масса народу, были и женщины, но немного, принесли даже табуретку, чтобы стать на одну, а то не всем меня видно. Пришлось повести речь в более широком размере, коснуться всех болезней, которые накопились веками на теле рабочих. Говорил с перерывами, вызывая товарищей рабочих высказываться, но таковых не находилось. Пришлось прибегнуть к другому способу — просить, чтобы задавали вопросы: кто, что имеет, чем не доволен и т. д. Это подействовало — начали задавать вопросы и тем самым давать тему для дальнейшего развития нашей беседы. Наши собрания так пришлись по душе рабочим, что убедительно просили проводить каждый вечер. Так мы и сделали.

Каждый вечер стал я ходить на эти собрания, и с каждым днем народу собиралось все больше и больше, не только заводские, но и поселковые. Вся молодежь приходила послушать, в особенности еврейская жадно ловила каждое слово. Помню, как-то раз на собрании один молодой человек попросил слова и, взойдя на табуретку, начал свою речь в очень сильных выражениях и, помнится, сказал, что он народный социалист. Ему бедняге пришлось плохо: собрание зашумело и собирались предать его или побить. Пришлось напрячь всю силу для того, чтобы спасти паренька и я спас его, он смог уйти спокойно. Поступали вопросы и от рабочих. Пришлось коснуться и положения нашей женщины, ее векового рабства и горькой долишки женской... За это выступление мужчины рабочие, смеясь, говорили: «ты избалуешь наших баб, они и слушаться нас не будут» и т. д. Так мне пришлось на Алмазном поработать среди рабочих недельки две. На поселке бабы, подростки встречали меня, как ихнего оратора.

Но вот забастовка на Шубинском руднике. Иду туда; присутствую на собрании стачечного комитета, потом выступаю на общем собрании, устроенном прямо на дворе рудника. Когда я кончил свою речь, тов. Александр, руководитель забастовки, пожал мне руку и поцеловал меня. Народ в восторге кричал:—Браво! Ура!

С Шубинского я пошел на французские рудники, где задержался и заночевал у товарищей. На другой день, в половине дня, появилась огромная масса народа. Что такое? Откуда?—оказалось это шубинские товарищи пришли на французский и устроили митинг. Пришлось и здесь выступить, хотя французские рудники и без того знали меня хорошо, зато шубинские еще мало. Во время этого митинга я ясно увидел, что на французском руднике черная сотня естুষевывается и успех с.-д. огромный.

По окончании митинга, мы с женой пошли в дом Придкина к садовнику Карлу, эстонцу, и под вечер через Орловский рудник пошел на Шубинский. И вот, перед мною предстала следующая картина: от французского рудника к Шубинскому, по дороге, на линейке, запряженной парой, едет надзиратель, а по бокам линейки скачут верхом полицейские. Я говорю жене:—это они вдогонку за мной. — Мы замедлили шаг и стали наблюдать, что будет дальше. Навстречу всей этой компании попался мужчина, остановились и начали разговаривать, а потом вижу: надзиратель свернул и поехал вдоль линии ж. д. к Алмазной. Встречный человек пошел к французским рудникам, а мы с бабой пошли на Шубинские. Идя Шубинским поселком, меня встречает паренек—еврейчик и говорит: «не ходите на рудник, там прибыла рота солдат с пулеметом и, кажется, идут аресты». Я поблагодарил его и отправился в квартиру товарища, где переоделся. Оставив жену здесь, я отправился на Ирменский рудник. Туда пришел уже поздно; зашел к брату Машицкой, Захарову, переночевал у него, а на утро отправился к Машицкой на Анненский рудник на станцию Ламоватая. Здесь я прожил два дня, а потом уже возвратился на Алмазную.

Время было тревожное; реакция все сильнее начинала давить; 1-ую Думу разогнали. Появилось воззвание разог-

нанной Думы и отдельное от думской фракции с.-д. Пришлось развернуться и побывать на многих рудниках. Часть наших товарищей, еще неискушенных и не побывавших в переделке, попритихла. Я старался их подбадривать, вливать свежую струю в массы.

На нашем горизонте появился тов. Михайличенко М. И. Собирались грандиозные митинги; полиция и казаки бесчинствовали; начиналась травля провокаторами; всюду рыскали шпионы. Газеты, хотя и смутно, приносили известия о восстаниях во всех концах. Центры наши: Екатеринослав, Харьков давали нам очень мало, своих средств не хватало, приходилось пользоваться всем, что попадалось под руки. У Машицкой устроили базу; появился и Михайличенко, которому пришлось прожить у Машицкой с неделю, а потом отправиться опять по рудникам и городам. За поимку неуловимого Михайличенко в печати объявлялась премия. Мы старались его спровадить подальше и решили на время прекратить выступление в Донецком бассейне. Мне пришлось тоже удирать по добру по здоровому. Сложил я свои инструменты в ящик, взял белье и пиджак, сел в вагон и отправился в путь и чуть-чуть было не влопался. В Дебальцеве, направляясь к кассе взять билет до Ясиноватой—вижу: из второго класса выходит пристав. Жандарм, стоящий недалеко от кассы, указал приставу на меня, я это заметил, но, не показывая виду, иду во второй класс, беру газету и отправляюсь в свой поезд. Двери оказались закрыты; пришлось обойти кругом и тогда только попал в свой вагон. В вагоне развязал корзинку, достал черную рубашку и надеваю сверх розовой, вместо серого пиджака — надеваю черную тужурку. Готово. Перед отходом поезда в вагон входит пристав, прошел — ничего; поезд уже тронулся, а я сижу себе. В пути мимо меня проходили пристав, два надзирателя и даже не взглянули попристальной.

В Ясиноватой я не пошел на станцию, а остался на перроне дожидаться поезда из Екатеринослава на Мариуполь. В это время подошли ко мне два моих знакомых хлопца, которым я все рассказал и попросил их понаблюдать со стороны. Подошел поезд, я сел в вагон без билета, заявив об этом кондуктору. Тот согласился.

Сидим мы втроем с хлопцами, закусываем, выпили полбутылки монопольки. Опять показались пристав и два надзирателя—прошли. Третий звонок; товарищи слезли; поезд тронулся. В Юзовке подошел кондуктор и велел взять билет. Не успел я выйти из вагона,—третий звонок. На дебаркадере я увидел пристава и двух надзирателей, мимо которых я пробежал в свой вагон. На Рудчинковых я ожидал, что меня арестуют, и потому попросил одного рабочего с Рудничковых, который узнал меня, что в случае моего ареста, сообщить таким-то. Рудниченково проехали,—не вызывали; на Еленовке опять вызвали, но касса уже была закрыта и я опять пробежал мимо церберов. Так они меня проводили до Волновахи. Здесь я, наблюдая из вагона, заметил, что пристав подозвал какого-то субъекта и что-то ему сказал. Тот мотнул головой в знак согласия и направился к вагону, а я лег, притворившись спящим. Шпик сел на край скамьи и давай меня тормозить. Я промышлял несколько слов и попросил меня не тревожить; он уселся напротив и так мы ехали до самого Мариуполя.

В Мариуполе я нанял дрогаль, сложил свои вещи и громко сказал, чтоб ехал на первую слободку к Икрынову.

По дороге я говорю дрогалю, что мне завтра нужно будет ехать на завод. «Так зачем тебе к Икрынову?—поедем ко мне, там переночуешь, а утром я тебя отвезу на завод. Я живу на Базарной улице, по дороге». Я был очень доволен таким оборотом дела и мы, под покровом темноты, вместо слободы, отправились на Базарную. Оглянувшись, я увидел, что ехавший сзади извозчик свернул на первой слободке влево, вслед за другим ехавшим дрогалем тоже с пассажиром. Ну, значит, конечно, маневр удался, я вне опасности.

Переночевав у дрогаль, я утром уже был на заводе, откуда направился прямо в аптеку к Шниперу. Тот, увидя меня, обрадовался,—как раз ему нужен мастер, он отделявал себе собственный дом. Я взялся делать двери и рамы. Пока, день—другой жил у него, потом встретил товарища из Юзовки, который работал на заводе Никополь и жил еще с товарищами, мужем и женой; меня пригласили они жить совместно. Я был очень доволен сложившимся обстоятель-

тельством, и мы зажили по-семейному. В Мариуполе нашлись еще товарищи, работающие на заводе. На одном из заводов у Сойфёра работал Петренко из Юзовки. Вскоре я окупился в партийную работу.

У Сойфёра я проработал две недели, изо дня в день читая газеты рабочим в столовой. Я так настроил рабочих, что они даже и теперь помнят меня. Об этом я сужу по тому, что в Харькове в Ц.И.К. встретил меня товарищ в 1922 г. и тут же признал, обрадовавшись, что я еще жив. От Сойфёра я ушел и начал работать у аптекаря, пока не приехала ко мне жена и сообщила, что на рудниках пока все тихо и можно ехать туда. Уложив инструмент, я покатил на рудник. Поступил на Марьевский рудник плотником. Проработав три или четыре месяца, получаю письмо от Пахуцкого, чтобы ехать на Марганцевые рудники, под Никополем, рудник «Перелюзит». Еду туда; поступаю пока плотником; начинаю работать; знакомлюсь с рабочими (дело было к весне).

Весной начинаю собирать сходки в балках, на которые собирались не только рабочие, но и селяне. На руднике моем потребовались токаря, слесаря. Об этом я даю знать тов. Захаренко, Богомазову и еще двум-трем, которые не замедлили явиться. У нас образовался кружок; втянули в работу учителя и писаря; работа по пропаганде занимала все свободное время. Я получал журнал «Русское Богатство» и газеты столичные и екатеринославские. Всех нас сильно возмущала расправа казаков с крестьянами. О наших собраниях узнала местная полиция; к приставу в Городище были вызваны Пахуцкий и еще несколько человек, где их расспрашивал пристав, кто проводит собрания и о чем говорят и т. д. Учитель Красно-Григорьевки был хорошо знаком с приставом; мы его направили разузнать, в чем дело. Учитель приехал от пристава с вестями, что это пустяки, по глупому доносу урядника, но предупредил, чтобы были осторожны, в особенности писарь, на которого больше всего указывалось.

Роспуск Второй Думы и арест депутатов в нашей глуши прошел как-то мало заметным,—мы никак не могли реагировать и что-либо предпринять, кроме собраний. Нас

было слишком мало и мы оставались, как-будто, в стороне. Ясно было одно, что реакция душила всех и вся; многие товарищи стали постепенно охлаждаться, а некоторые совсем: или уходили от работы, или, и того хуже, делались провокаторами, как это случилось впоследствии и в нашем кружке. Как бы то ни было, а все же год пришлось поработать на Марганцовых рудниках.

Летом к нам приезжали: Машицкая, Прянишников; соскучились они по мне, да и хотелось им посмотреть Запорожский луг и пороги, и полюбоваться Днепром и Бугаем (мы как раз жили на берегу Бугая). Их приезд подбодрил нашу компанию. Машицкая рассказала о работе в подполье и т. п. Проводили мы их до станции Марганец. Как будто, что-то потеряли, — так было грустно от навеянных дум: — жили, работали вместе, а злая, бессердечная рука реакции разогнала всех; каждый раз приходилось собирать и созывать новые кружки, приспособляться к новой обстановке. Только беззаветная преданность делу и вера в победу над общим врагом окрыляла нас и давала силу и бодрость. Мы, более сознательные рабочие, ясно видели, что царизм трещит по всем швам, как бы реакция не душила. Мы возрождались снова и давали знать, что «жив Курилка», есть еще порох в пороховницах.

До выборов в Третью Думу все шло гладко и хорошо. Собирались попрежнему в балках, где на одном из собраний пришлось коснуться вопроса об армии, в которой служат наши дети, братья, и которых узурпаторы посылают расстреливать своих отцов, матерей и братьев. Чтобы этого не было, надо чаще писать им обо всем, что делается в деревне, на заводах, рудниках, открывать им глаза на то, что их дурачат, вбивая им в башку разные бредни об отечестве, о присяге, о царе и т. п.

На одном из собраний пришлось коснуться такого вопроса, что вот, мол, мы собираемся в балках, в оврагах поговорить о своих нуждах, о горе злосчастном, о том, как нас притесняют, как над нами издеваются, и как избавиться от такого горя. Ведь кроме голой правды, вы ничего здесь не слышите. За что-же нас тогда преследуют? — за правду? Кто из вас может поручиться, что из вашей среды не най-

дется такой негодяй, который и скажет старшине или уряднику, что вот, мол, собираются. На это мне ответили, что среди них нет таковых, хотя здесь на собрании есть брат старшины, но он не таковский, он не скажет.

На собрании были не только молодые, но и старики и даже старухи; приносили яблоки, груши, сливы и подчивали своих ораторов; засиживались за полночь. Так-то шла наша подпольная работа; все мы были довольны, и нас это подбодряло.

Накануне выборов в 3-ью Думу пришлось выступить перед рабочими с обширными объяснениями о значении Думы, о том, как рабочих просеивали через несколько сит и т. п. Большинство голосов я был избран выборщиком и после этого, через дня два, мне передают, что уряднику поступил донос. Я уехал в Екатеринослав на выборы, где встретил много знакомых товарищей. На предвыборном собрании был намечен рабочий Кузнецов, кандидатуру которого и решили поддерживать, и на выборах он прошел, поддержанный всеми. В то время большого расхождения не было между большевиками и меньшевиками, хотя уже назревал окончательный раскол. Помню по этому поводу разговор с Г. И. Петровским, который еще в то время заметил, что Кузнецов мало пригоден. К сожалению, екатеринославские товарищи никого не выставили и пришлось помириться на этом. Была выставлена моя кандидатура, но я отказался, так как для Думы считал себя неподходящим: слишком стар, там надо быть молодым. Возвратясь обратно в свою Красно-Григорьевку, я снова принялся за свое дело, не обращая ни на что внимания.

Как-то раз в мастерскую заходит учитель и передает мне, что он был у пристава в Городище, где ему пристав сказал, что вот, мол, у вас там есть какой-то старичок, который работает на руднике и уже второй раз урядник доносит о нем, как о неблагонадежном. Собрал я товарищей, посоветовался и порешили, что мне нужно взять отпуск на две недели и поискать работу в другом месте. Управляющий дал мне отпуск, и я поехал в Мелитополь. Там работал Жданов на заводе Либермана, где для меня дела не оказалось. Поехал к Машицкой на Анненский рудник — тоже

нет дела. Еду в Ростов-на-Д. к Миронову, где поступаю столяром и в качестве учителя детей ручному труду. Итак, я снова в Ростове, в Нахичевани. Из старых знакомых я встретил:—Вовку, Шамурова и уже совсем больного Попова—(Родионовича) шлиссельбуржца. Встретил я также знакомого из Мариуполя кузнеца, который готовил воззвание к новобранцам и успел только один или два экземпляра передать мне, остальные были арестованы вместе с ним. Он был выдан провокатором, работавшим вместе с ним; остались его жена и ребята, которых пришлось поддержать.

Жизнь в Нахичевани не по нутру мне пришлась. Писал я во все концы, и вот получаю телеграмму из Баку от доктора Ковалерова; в котором он просит меня немедленно приехать. Не долго думая, собрал вещи и отправился в Баку. Ковалеров служил в Совете съезда нефтепромышленников в Балаханах в больнице старшим врачом; он жил один, без семейства. Остановился я у него. Михайличенко жил в Сураханах на промысле Бенкендорфа нелегально, под фамилией Братищева. С ним же жил брат учителя с Марганцевых рудников—Григорий Осадько. Я поступил масленщиком при маленькой паровой машине в прачечной, находящейся при больнице. Тут я работал, пока Ковалеров не уехал обратно в Донецкий бассейн.

После его отъезда, месяца через два или три, я получил письмо от тов. Захаренко из Большого Токмака, где он с некоторыми товарищами образовали артель слесарно-механической мастерской. Им нужен был столяр,—он же и модельщик. Я беру расчет, еду в Большой Токмак, где и начинаю работать, как член артели. В артели было 8 человек: Захаренко, Маринченко (первый токарь, второй слесарь), остальные были литейщики. Работа, главным образом, состояла в ремонте машин, косарок, жаток и т. п. вещей. Было два токарных станка: сверлильный и долбежный. Но кредита и запасного капитала не было.

Через год у меня заболела жена, у ней образовался рак, требовалась операция. Токмакские врачи отказались сделать такую трудную операцию, пришлось написать Машицкой, которая ответила, чтобы мы ехали к ней. Приехали мы к Машицкой и Прянишкову на Лидеевский рудник перед

пасхой. Машицкая с моей женой отправились в Луганск. В луганской земской больнице работал врач Скворцов, очень хороший оператор, который, по осмотре жены, сказал, что операция сложная, нужно будет приехать после праздников.

После пасхи, положив жену в больницу, сам поездил по рудникам, позондировал почву, где что делается. Побывал у доктора Ковалерова, рассказал о болезни жены; он пожурил меня, почему я не обратился к нему. По настоянию Ковалерова, жену после операции я отвез к нему. Я опять отправился в Токмак, где у нас назревал кризис: не было кокса и кузнечного угля. Поехал я к Прядкину просить угля и кокса в кредит. Прядкин отпустил вагон кокса и вагон угля. К этому времени в артели начиналась склока на почве недоверия друг к другу. Литейщики наши перессорились, литье выходило плохое. Порешили кой кому пойти на другие заводы. Я стал работать у местного столяра, Захаренко на заводе; постепенно наша артель распалась, а потом совсем покончила свое существование, оставив одного Маринченко. Вскоре я уехал в Горловку к Ковалерову, который для своей жены открывал частную коммерческую школу. Для школы нужна была обстановка: парты, шкафы, столы и т. п. вещи, которые я и взялся сделать. Один я с работой не справился, пришлось пригласить помощников. Здесь я скоро образовал кружок из рабочих шахтеров. У меня стали собираться все чаще и чаще, не давлякая подозрения. Вскоре я получил письмо от Михайличенки из бахмутской тюрьмы, в котором он просил, чтобы бабушка пришла к нему на свидание. Благодаря этому письму у меня сделали обыск,—взяли начатое мною писать воспоминания и только.

Я и бабушка поехали в Бахмут; в жандармском управлении выхлопотали пропуск для нее. Так она и ездила в Бахмут и до суда и после суда, пока Михайличенко отсидел свой срок; ко мне же полиция больше не заглядывала.

На выборах в 4-ю Думу мы провели своего кандидата Галица, от которого я узнал, что в Думу прошел Г. И. Петровский.

По выходе газеты «Правда», у нас на руднике выписка доходила до 20 экземпляров, и с каждым месяцем увеличи-

валаась; работа наша все ширилась, захватывая все большее количество людей, в особенности, когда пришлось проводить своих товарищей в больничную кассу. Я был совершенно в стороне от всей несознательной массы; меня только знали свои, кружковые. В больнице у нас были свои ребята. Газета «Правда» нам давала все, в особенности, после моей корреспонденции, которую я послал в «Правду» через Г. И. Петровского. Она была напечатана под псевдонимом «Старый воробей». Будучи не в курсе дела, некоторые товарищи возмущались несогласием партии с ликвидаторами в Думе. Для нас были неясны причины расхождения до тех пор, пока не приехал Г. И. Петровский, который в беседе со мной пояснил всю эту рознь.

Приезжал к нам Петровский всего на один день; переночевал у меня и на утро поехал дальше. Собрание наше было небольшое, конспиративное, в Посадке; потом мы с Петровским зашли на братскую могилу погибших г.т. в 1905—6 г. Петровский обещал прислать больше «Правды» для ее распространения и взял адрес тов. Морозова. Это было непростительной ошибкой. Когда пришла газета, на почте поставили полицейских, чтобы конфисковать газеты и арестовать получателя. Я настаивал, чтоб не ходить за получением, пусть они пропадут, все равно, так или иначе они нам не попадут. Мои ребята тайком от меня все же пошли и, конечно, Морозов был арестован, и газеты конфискованы. Морозова отправили в Бахмут; семья осталась из пяти душ, пришлось прибегнуть к сбору. Первый месяц сбор был сравнительно хороший, около 30 р. Поехал я в Бахмут в отделение редакции Харьковской прогрессивной газетки, где встретил товарища-интеллигента, который мне вручил 80 р. для пересылки Михайличенко. Последний уже вышел из тюрьмы и уехал опять в Баку, где жило его семейство. Я разделил эти деньги пополам: Михайличенко послал 40 руб., а остальные—семейству Морозова. Мы рассчитывали, что долго Морозова не продержат,—в это время затевалась мировая бойня, и ему, как солдату, не миновать мобилизации, все это, вместе взятое, заставило меня напрягать все силы поддерживать семейство; товарищей своих я подхлестывал, сам помогал всем, чем мог, и тем не давал унывать.

Через три или четыре месяца освободили Морозова и еще одного товарища; выслали их под гласный надзор в Харьковскую губ., Изюмский уезд. Они подали прошение о переводе их в Таганрогский округ, в Макеевку. Чтобы ускорить этот перевод, который был разрешен, они поехали в Таганрог, где их снова арестовали и, вместо Макеевки, направили в Нарымский край. Об этом знали только его жена, я и еще двое товарищей: Бескоровайный и Федор (фамилию забыл).

Началась мобилизация. Полиция стала наводить справки, где такой-то. Я жене Морозова растолковал, чтобы она говорила, что муж ее мобилизован по месту нахождения,—в Изюме. Таким способом ее с детьми включили в список мобилизованных, и она стала получать пособие,—дело немножко облегчилось. Так мы и коротали с ней дни, вплоть до последних чисел апреля 1916 года. Письма из Нарымского края получались на мой адрес.

В 1916 году меня захватила грандиозная забастовка шахтеров, начавшаяся с Фурсовских рудников и захватившая весь Горловский район. Бастовали Фурсовский, Горловский, все Никитовские, Нелеповские, Щербиновский рудники и Государев байрок. Стоило мне только показаться рабочим, пришедшим на Горловский рудник, который еще не примыкал к забастовке, как я был приглашен в круг, где говорили фурсовские товарищи. Мне объяснили, что забастовка чисто экономическая, политики просили не касаться. В середине круга стоял горловский пристав; народ все подходил с 5 №, потом показались с горы, где находился байрок. Я дал высказаться товарищам, потом взял слово, и полилась моя речь, которая захватила всех и даже пристава, только пожимавшего плечами. Я видел, как многие женщины плакали, все присутствующие были—одно внимание. Митинг закончился, и все мирно начали расходиться. Я пошел было домой, но товарищи остановили меня, и просили больше не покидать их. Оказалось, что они меня искали, но им кто-то сказал, что я уехал куда-то. Я их пригласил к себе в мастерскую, чтобы они знали, где меня разыскать. Вечером пришли ко мне несколько товарищей, которые даже просили вести забастовку до конца; ходить они меня не

заставят, а будут возить, так как собрание будет происходить между Горловским 5-м номером и Фурсовским рудниками.

На другой день меня отвезли на собрание, где присутствовали пришедшие с Никитовских, Нелеповских, Щербиновки, с байрока. Пришлось вести дело в общем направлении для всех рудников. С каждого рудника делали доклад о движении забастовки, об угрозах со стороны администрации, полиции и призывных на фронт и т. д. Пришлось подготавливать шахтеров ко всевозможным выходкам, как со стороны администрации, так и полиции, вплоть до арестов отдельных товарищей. Ответом было одно,—пусть посылают на фронт,—для нас все одинаково: лучше фронт, чем подыхать и пухнуть с голода, работая в шахте; если не хотят повысить заработную плату на 50 процентов, пусть дают паек: продуктами, одеждой, обувью, тогда нам не нужно никакого жалованья. Так говорили рабочие. Собрание прошло мирно, спокойно; говорили больше о своих нуждах и беспорядках, о придирках и притеснениях со стороны администрации, о квартирных беспорядках и даже иногда проскальзывали в речах некоторые антирелигиозные нотки. По окончании собрания все разошлись мирно, спокойно, ничем не нарушая порядка,—за этим строго следили сами рабочие. Полиция, в лице урядников и стражников, стояла в стороне и никаких инцидентов не было.

Идя к себе на рудник в Горловку совместно с народом, я увидел, что кавалькада стражников зорко всматривается и о чем то разговаривает; один из них, указывая на нашу группу нагайкой, громко говорил, что вон старик, которого надо убрать. Мы пошли, не обращая никакого внимания. Дойдя до посадки, мы скрылись в лесу, а лесом я со старухой вышли совершенно с другой стороны. Вечером у меня опять собрались товарищи, которым я рассказал всю историю и посоветовал быть поосторожнее. За моей квартирой я просил следить на случай, если меня арестуют, а старуху оберегать, пока суд да дело.

На утро раненько пришла жена Морозова и сообщила, что меня собираются арестовать; ей это сказала жена полицейского, которая, не зная, что она знакома со мной, рассказала все, что делается в полиции. Я отправился на место

собрания, старухе же сказал, что на ночь я не приду, а заночую где-либо там, на Фурсовских рудниках.

В этот день ко мне присоединился товарищ Черненький (петроградский рабочий). Митинг собрался громадный, народ валил со всех сторон; круг образовался такой, что пришлось детей и женщин усадить на траве в середине. Здесь уже не могло быть речи об экономической забастовке, а выявлялся политический характер забастовки, сначала сдержанно, а дальше—все сильнее разворачивалась и ширилась речь не о насущном лишь хлебе, а о свободе, братстве и равенстве.

В этот день на собрание явились окружной инженер с чиновником от министерства внутр. дел. Мы их допустили в круг. Инженер попросил слово, которое ему было дано, с предупреждением: выяснить соотношение базарных цен на рынке и получаемой заработной платой. Он вполне согласился с нашим мнением и сказал рабочим, что вполне разделяет наш взгляд на трудное положение рабочих, которым приходится переплачивать на некоторых предметах 30%. Воспользовавшись шовинизмом инженера, тов Черненький разделал его под орех, указав, что так могут рассуждать только сытые люди, которые не ложатся спать с голодным брюхом и т. д. На мою долю выпало разъяснить рабочим, как у этих людей расходятся слова с делом.—Пример тому ясен—он перед вами:—правительство и капиталисты охотно прибавили полицейским 50% плюс обмундирование за их верную и полезную службу, а нам говорят,—«вам нельзя, вы до этого не доросли». Так пусть же знают эти господа, мы не просим, а требуем. Пусть они, привыкшие к насилию, узнают раз навсегда, что мы тоже сила и готовы отвечать на слово словом, а на силу силой, которой нам не занимать,—с избытком есть. Если мы до сего времени молчали и все ждали и терпели—пусть же знают, что всякому терпению приходит конец. Довольно нас терзали зря, довольно стригли нас, как стадо.—Чиновники наши ушли, а мы продолжали объяснять народу его тяжелое положение; мы ясно видели, что народ проникался сознанием.

Присланные солдаты не только не стали разгонять, но даже мы, кроме сочувствия, ничего от них не видели и не

слышали. Солдаты отказались исполнять приказания своего начальства, одна лишь полиция бесновалась. Так продолжалась наша забастовка. Я остался ночевать на Фурсовских рудниках, а на утро нам сообщили, что в ночь арестовали несколько товарищей на разных рудниках:—Горловке, Нелеповке и Никитовке. Эти аресты подливали масло в огонь. Мы указали народу на всю подлость правительства, гнусность капиталистов и их присных. Как пример, мы указали народу на арест и ссылку наших народных избранников, депутатов Государственной Думы, которые за защиту рабочего класса томятся в ссылке. Я говорил о том, что мы посылали телеграмму оставшимся в Думе депутатам, но нам не отвечают.

В этот день к нам опять явился окружной инженер и сообщил, что посланная нами телеграмма в Государственную Думу не могла быть вручена за отсутствием адресата, а также и то, что на вчерашнем совещании заведующих и управляющих рудниками было постановлено прибавить рабочим 30% плюс прифронтовых 10%,—большого он не мог добиться. Мы со своей стороны заявили окружному, что одиночные аресты из среды рабочих ни к чему не приведут, а, напротив, еще больше раздражает людей и, если мы до сих пор не снимали рабочих, то в дальнейшем нас вынудят сделать решительный шаг. Окружной на это ответил, что относительно арестов он ничего не знает, а если это делается, то помимо него; в полицейские дела он вмешиваться не может, да и не желает, но, во всяком случае, об этом поговорит и даже обещал донести губернатору. Мы ясно видели, что нас хотят взять измором, а поэтому решили сделать добровольный сбор для поддержки нуждающихся в помощи товарищей, и решили избрать комиссию для проверки.

Прошел и этот день. Мы дали задание рабочим, чтобы они на каждом руднике образовали дружины и дежурили посменно, если же заметят полицию—делать тревогу и не давать производить аресты. Предложение наше было принято. В эту же ночь, благодаря умелой защите рабочих—шахтеров, полиции не удалось никого из их среды арестовать. Это еще пуще взбесило полицейских, и им только

оставалось посылать угрозы по адресу рабочих, что они и делали. На следующее утро, когда собрался народ в большом количестве, послышалось требование итти всем в Бахмут; при этом говорили, что пусть забирают всех, а не только кого наметила полиция. Мы собрали совет из 36 человек для выработки более успешного хода забастовки. И вот, тут же, в кругу всех рабочих, мы решили выбрать из своей среды человека для поездки в Петроград, где он сделает доклад о происходивших событиях. Но человек этот должен быть знающий, идейный, которому нужно будет иметь дело с тайным комитетом Р. С.-Д. Р. Ш., с собою он должен взять товарищей, но только с других рудников для того, чтобы не провалиться. Денег на дорогу должны сейчас же собрать. Выбор пал на меня, как старого работника. После этого мы продолжали вести митинг вплоть до вечера и постановили, что если нам не объявят завтра о прибавке 50%, то мы должны будем снять камеранщиков, кочегаров и всех мастеровых.

Я своей старухе и одному товарищу поручил, чтобы принесли мне в Посадку одежду, шляпу и документ. Так и сделали. Я переоделся, надел котелок, распростился и отправился в Никитовку. Шел я не по линии, а по дороге к цементному заводу; свернул на поселок и зашел в парикмахерскую, где остригся под машинку и обрил бороду. После этого зашел в столовую, пообедал. До поезда оставалось еще много времени. Я должен был ехать в Харциск, а затем в Макеевку, на рудник София, где я должен был разыскать товарища, едущего вместе со мной в Петроград. В Никитовке я все время проводил вне здания станции, лишь только зашел взять билет до Харциска. На станции я заметил одного товарища рабочего с Никитовского рудника, сидящего еще с несколькими товарищами на полу посреди зала. Они о чем то разговаривали. Я прошел мимо—меня не узнают: это прибавило мне больше бодрости. Я спокойно сел в вагон и поехал на Харциск, где пришлось на станции дожидаться утра, и отправиться на Макеевку.

В Макеевке разыскал артель, где работал едущий со мной товарищ.

Не долго разговаривая, я попросил поскорей соби-

раться и ехать. Наскоро закусили и отправились в путь. Приехали в Харциск; ростовского поезда еще не было; мы пошлялись по станции. Прибыл поезд из Харькова, с которого слез один знакомый рабочий с рутного рудника. После некоторых пристальных взглядов он признал меня, но все же сказал, что я во многом изменился и могу вполне быть спокоен. У них было все пока спокойно, патрули рабочих зорко следят за тем, чтобы не давать арестовывать; сегодня наверное снимут с работы всех остальных.

Подошел ростовский поезд; я взял билеты до Петрограда и мы с тов. Андреем сели в поезд. Проехали Горловку; в Никитовке никого не пришлось встретить. В наш вагон сели несколько рудничных рабочих, ехавших в Краматоровку. Они все время говорили о горловской забастовке и о выдержке рабочих. Один из них восхищался стариком-оратором и говорил, что он такого во всю жизнь свою не видал и не слышал. Мы с Андреем сидим—и ни гу-гу, опасаясь, как бы не влопаться. Я шепнул Андрею, чтобы он спросил, с каких они рудников. Оказалось, они с Мужичьих шахт, и все время тоже не работали, а теперь едут в Краматоровку. Проехали благополучно,—дальше нечего опасаться. Как следует улеглись на лавках и так проспали вплоть до Харькова. В Харькове поезд стоял порядочно; мы закусили, выпили по стакану чаю, взяли газету „Южный Край“, и спокойно доехали до Москвы. В Москве пересели на петроградский поезд. По мере приближения поезда, становилось все холоднее. Это было как раз 1-ое мая по ст. ст. Проехали Тверь—уже холод, дальше совсем снег, а мы в одних пиджаках. Подъезжаем к Петрограду—снегу уже нет и погода теплая.

В Петроград приехали утром, и прямо с вокзала—в адресный стол. Нашел своего родственника, и мы отправились на Лиговку, на Обводный канал, и там обеспечил себе ночлег. Потом пошли на Нарвскую, на Путиловский завод в больничную кассу. Места все знакомые. Разыскав кого надо, переговорили кой о чем, и оттуда уже с питерскими товарищами отправились за Московскую заставу, в другую больничную кассу. Там я рассказал, как и что и спросил

их, где они найдут нужным выслушать мой доклад. Решили, что сегодня они ничего не могут нам сказать, а завтра мы должны будем притти на Путиловский. Я спросил, известны ли им адреса рабочих депутатов Думы, на что они ответили, что хотя адреса им известны, но они нам не советуют туда ходить:—если вы пойдете к депутатам, то или вас арестуют, или вы приведете сюда хвост.—Когда же я спросил, где живет жена Г. И. Петровского, мне тоже отсоветовали к ней ходить, ибо за ней слежка. Так мы и попили на Обводный, где нас накормили и спать уложили—все честь-честью.

На утро мы пошли в трактир пить чай. Накрапывал дождичек. Сидим мы, попиваем чаек, закусываем,—входит молодой человек с галстуком, садится рядом и все поглядывает на нас; через некоторое время входит другой, постарше, рыжеватый еврей, садится к молодому и тоже вглядывается, потом начинают между собой что-то говорить. Я встаю и иду в уборную, оставив Андрея сидеть; когда я вернулся из уборной, Андрей мне моргнул, чтобы уходить. Я расплатился и, надев шляпу, вышел, а Андрей задержался и стал прислушиваться к их разговору. Дожидаюсь. Выходит Андрей и, передает мне: «Молодой говорит—«это он», а постарше возражает—«нет, я его знаю, да, впрочем, вот придет—узнаем», кто придет—Аллах ведает».—Ну, в таком случае,—говорю Андрею,—ты иди за мной, сзади, в шагах в 10—15, и если увидишь, что за мной идут по пятам, то не подходи ко мне; я поведу тебя так, чтобы удрать от них, из виду меня не упускай.—И повел я Андрея с Лиговки на Сенной, а Сенного зигзагами на Петергофский, затем водил Апраксиным и Александровским рынками и вышел в Екатерингоф к Нарвской заставе.

Здесь я приостановился, подождал Андрея, который скоро подошел и сказал, что за мной никто не идет.—«Ну, пройдем теперь, посидим на лужке, отдохнем, а потом пойдем через Волынку прямо на Путиловский завод». В Волынке зашли в парикмахерскую, побрились и отправились через Волынку прямо к заводу. Тех огоронов, которые раньше были, уже не было; всюду построены дома; на взморье про-

ведена ж. д.; по ней мы вышли прямо к Красному кабачку, где помещалась заводская больничная касса. Здесь я рассказал товарищам, что и как случилось, что оставаться в Питере мне рискованно,—надо удирать и чем скорее, тем лучше. Все согласились с тем, что мне надо уехать, а Андрею остаться и подождать ответа товарищей. Я взял на дорогу пять рублей, дал расписку под своим псевдонимом „Старый воробей“ и отправился на Николаевский вокзал, где простоял в хвосте за билетом до 10 час. вечера, но билета не получил: кассу закрыли. Пришлось идти на Обводный, и еще раз заночевать у родственника, который не знал причины моего приезда, но все же предупредил, что здесь на каждом шагу шпики.

На утро я рано пошел на станцию, взял билет до Орла, сел в поезд, и без всяких приключений приехал в Орел. Там я отправился прямо к живущему в Орле доктору Ковалерову и записался в очередь на прием. Наконец, вхожу в кабинет; доктор удивился, увидя меня бритым. Рассказал ему, как все это случилось и как я попал к нему. Поговорили.

Надо было подумать о ночлеге; доктор дал денег и я отправился на свою прежнюю квартиру, где жил во время работы в Орле. На другой день доктор уехал в Горловку разузнать, что там творится, и возвратился через день. Вести он привез печальные: в Горловке пристав собрал вокруг себя всю свору полицейских, напоил их, и сам во главе этой пьяной оравы напал на безоружных рабочих, собравшихся на обычном месте. Без всякого предупреждения начали расстреливать, не разбирая ни пола ни возраста; в результате—убитые и раненные. Полицейские врывались в квартиры, вытаскивали шахтеров и избивали до полусмерти. Такие-то вести мне пришлось услышать от Ковалерова. Что касается меня, то мне не только нельзя было на рудник показаться, а за сто верст от рудника надо быть. „Если попадетсЯ, то будет убит“—таков приказ надзирателя и пристава. Доктор привез мне белье, дал письмо к знакомому в Москве, чтобы там устроиться. В Москве прожил 4 дня; ничего не вышло. Я возвратился в Орел, и решил

пробраться на Кавказ. Когда я сообщил доктору свой план, он со мной согласился. Порешили, что я и его сын поедем на Грязи, а с Грязей сын его отправится в Рязань, а я на Воронеж и в Ростов-на-Дону. Ковалеров проводил нас на станцию, взяли билеты до Грязей, и мы отправились. В Грязях, я сел на поезд и, миновав Горловский район, очутился в Ростове. Прямо с вокзала отправился на пристань, сел на пароход, отправляющийся в Ейск. В Ейске у меня были знакомые:—мать и сестра Машицкой, к которым я приезжал, как домой.

В Ейске я поступил в частную мастерскую и начал работать. Работали 10—12 часов и мне, старику, было трудно, но что поделаешь? Куда денешься? Я стал изыскивать средства, как уведомить старуху; послал письмо в Горловку на имя кузнеца Бескоровайного, в котором просил его сходить к бабушке и сказать, что я нахожусь у Варвары Семеновны (а где это В. С.—знала только бабушка). До сего времени я не знаю, было ли это письмо получено или нет. Другое письмо послал на Лигиевский рудник, механику Прянишникову, в котором просил его послать к старухе человека, пособить ей уложить вещи: инструмент, верстаки, станок и отправить в Таганрог, а бабушку направить к Варваре Семеновне. Это письмо дошло до тов. Прянишникова, который все сделал так, как я его просил: вещи запаковали, отправили в Таганрог, а бабушка приехала в Ейск.

Еще до приезда бабушки, в Ейске черная сотня учинила погром: разбито было несколько магазинов и винные подвалы; мне невольно пришлось быть свидетелем погрома, сорванного местной полицией. Будь здесь организовано 15—20 человек рабочих—погрома бы не было, так как громили подростки, детишки, да базарные бабы, которые все перепились, как свиньи. На другой день все было тихо.

По приезде бабушки, я стал подыскивать квартиру для собственной мастерской и спрашивать о работе,—и здесь то пришлось призадуматься. Ейск небольшой городишко, летом работа есть, а зимой приходится сидеть без работы. Мы со старухой решили ехать в Таганрог, получить вещи

и приглядеться, можно ли будет устроиться в Таганроге. Как старуха, так и я, не страшились никакой передрыги,— за долгую скитальческую жизнь мы привыкли ко всему.

Задумано—сделано. Пошли на пристань, сели на пароход и отправились в Таганрог, где у меня были знакомые рабочие с металлургического завода, к которым мы и заехали.

В Таганроге меня приняли очень хорошо; товарищи ухватились за меня: «никаких», оставайся здесь и только,— местность глухая, рабочий район, опасности нет. Я согласился. Нашли квартиру; бабушка с дочерью товарища пошли за вещами, перевезли на квартиру, все честь-честью; признаков хвоста за бабушкой не оказалось, я успокоился. Бабушку я послал в Ейск за остальными вещами, сам остался устраивать мастерскую. На другой день возвратилась бабушка, и мы принялись за работу. Вскоре появились заказы, я зажил опять прежней жизнью.

Организовался у нас кружок из заводских рабочих, как металлургического, так и нового завода, Балтийского. Мои доклады о Горловской забастовке и о том, как солдаты отказывались разгонять рабочих и т. д. вызвали революционный подъем у всех товарищей. Молодежь я направил в казармы пропагандировать, разбрасывать прокламации, какие только были под руками, в особенности, против войны. Скоро на наши собрания стали приходить солдаты. Собрания были в большинстве случаев у меня, потому что в нашем дворе жили все свои; старуха моя отправлялась за ворота следить, а мы беседовали и обсуждали детали революции. Скоро нам сообщили солдаты-товарищи, что у них имеется в запасе 300 ружей и патронов, а главное—солдаты все на стороне рабочих. Не то было со стороны полиции; там готовились встретить восставших пулеметами и всеми ужасами. Нам отчасти было известно приготовление полиции. Правительство чувствовало назревание революции и по-своему готовилось. В солдатских казармах строгости увеличивались; на заводах все было тихо и гладко, товарищи вели себя сдержанно.

На одном из собраний мы решили обзавестись гекто-

графом. Товарищ-кровельщик взялся сделать протвени и кастрюлю для распуска желатина. Были посланы товарищи на рудники и в Луганск для добычи динамита и пироксилина. В это время я получил письмо из Баку от Михайличенки, в котором он меня просил ехать туда. Распродав все, кроме инструмента, запаковал вещи, сдал в транспортную контору, остальное—с собой, в багаж.

6. Февральская и Октябрьская революция и партийная работа.

Распростился с товарищами как раз в день получения известия о перевороте. На заводе расклеили объявление о временном правительстве; об этом донесли полицмейстеру, который прискакал с жандармами на завод и приказал снять объявление, не веря в переворот. Но через часа два все выяснилось, и полиция отовсюду была снята. Приехал я на станцию; там уже не видно было ни одного полицейского и жандарма. Я взял билеты; с трудом удалось сесть в вагон. Я доехал только до Ростова; в Ростове пересадка. В вагонах публика говорила о перевороте очень осторожно, многие не верили, как это можно без царя и т. п.

Разглагольствовались, в особенности, бабы-торговки, которые из кожи лезли вон, орали во всю глотку, что это мол враги наши, студенты, «сицилисты», забастовщики, «жиды» и т. д. Солдаты, находящиеся в вагоне, тоже и верили и нет, побаивались,—а ну, как это неправда?

В Ростове пришлось просидеть часов 12 и еле-еле удалось попасть в вагон; кое-как разместились, теснота страшная, давка, перебранка, на время все забыто, каждый был занят своим личным делом, пока не тронулся поезд. Проехав Заречную, люди поуспокоились, кто мог прилечь—прилег, а кто сидя курил, и так до Тихорецкой почти не завязывалось разговора. С Тихорецкой уже оживели, смотрели другими глазами, каждый задавал вопрос,—как дальше, что будет с земелькой, отберут ли ее кормилицу от помещиков, кулаков, попов? Так говорили крестьяне; солдаты—те базировались на прекращении войны и на скорый роспуск по домам; были и такие, которые возлагали надежды на Николая Николаевича, который даст все. Приходилось гово-

рить и объяснять все по экономическим и политическим вопросам, а главное, я, грешный, опасался, что вся Европа, вместо войны, ополчится на революционную Россию и постарается поскорей заключить мир и направить оружие против России. Едущим в поезде ничего не было известно, как совершился переворот, кто стал во главе правления, из кого состоит Временное Правительство; все эти вопросы нервировали массу, и разговор перескакивал с одного вопроса на другой.

В Минеральных водах я выгрузился, чтобы дожидаться поезда прямого сообщения на Баку. На станции было масса народу, едущего в Пятигорск, Кисловодск; все поздравляли друг друга с освобождением от царского режима, говорили смело, не боясь, что жандарм схватит за шиворот. Не было ни жандармов, ни полицейских, шмыгали тараторки-страницы, как испуганные вороны, на которых пришлось невольно обратить внимание и предостеречь народ от этих кликуш.

В Минеральных водах я взял плацкарты и сел в вагон прямого сообщения, где и узнал все подробности революции в Петрограде от едущих в Тифлис студентов и курсисток. Одна из курсисток заявила, что теперь можно простить казакам все их погрешности за 5-ый и 6-ой годы; они искупили их своей отвагой во время революции в Петрограде на Знаменской площади, где рассекли пополам пристава, а потом бросились на жандармов и полицейских. Я радовался всему слышанному и отчасти жалел, что уехал из Таганрога. Разговаривали мы до тех пор, пока у всех не смежились очи, и мы, счастливые, уснули в блаженном настроении, в надежде, что это есть поистине новая эра.

В Баку приехали днем и пересели на поезд, отходящий в Сабунчи. В Сабунчах встретил сына Михайличенко, который учился в реальном училище; вместе с ним мы и доехали до Сураханова, где жил Михайличенко.

В тот же вечер я познакомился с некоторыми товарищами. На промыслах работа шла попрежнему, рабочие были заняты выборами в рабочий комитет, который и должен был выработать новые условия жизни рабочих. Я поступил в кооператив заведующим хлебным отделением (на других

промыслах) ходил туда ежедневно с утра, а с трех часов возвращался в Сураханы. Наконец, дождался общего митинга, на котором делегат от Балаханов делал доклад о том, что сделано рабочими делегатами и что еще предстоит сделать. Вот здесь-то мне и пришлось выступить перед Сурахановскими рабочими. Речь моя длилась около часу. Татары, не понимавшие по-русски, попросили перевести мою речь на татарский язык; один из присутствующих перевел. С этого момента я уже стал в центре; мне пришлось проводить собрания на отдельных промыслах. Деления в первые дни не замечалось, а потом стали вырисовываться социалисты-революционеры; Р.С.-Д.Р.П. все еще держалась совместно, большевики и меньшевики работали в контакте. Социалисты-революционеры проявляли некоторую горячность в деле овладения массой. Не успело все это выявиться в конкретные формы, как ко мне звонят по телефону и требуют, чтобы я с бельем и необходимыми вещами приехал в Сабунчи к технику Рамишвили. Как делегат от бакинских рабочих на персидский фронт, я должен был получить у него мандат. Пришлось бросать все и ехать. Приезжаю в Сабунчи, встречаю Рамишвили и спрашиваю, в чем дело? Рамишвили мне объяснил, что он уполномочен Советом Рабочих Депутатов назначить от нашего района делегата на фронт с подарками, а также для объяснения солдатам о перемене правительства и о создании в местных воинских частях солдатских комитетов. Что я мог возразить?—только одно, что не слишком ли я буду стар для такой поездки? Рамишвили заявил, что это воля народа. Хорошо, раз это воля народа,—я готов. Он дал мне мандат, директивы, с которыми я и отправился в комитет в Баку. Там тов. Васин (эсер) приложил печати; подошли еще другие товарищи, едущие с нами; пошли закупили на дорогу хлеба, сухарей и отправились на пристань. Товар наш лежал не погруженным, но тут же начали грузить. Староста наш, тов. Васин, взял до Энзели билеты 2-го класса и мы сели на пароход.

Впервые мне пришлось плыть по Каспийскому морю. Сели мы 28-го марта 1917 г., а 29-го были в Энзелих, где вечером был созван митинг, на котором выступать все де-

легаты (нас было 8 человек). Здесь то и сказалось, что среди товарищей почти не было подготовленных к массовым выступлениям, мало были знакомы с историей революционного движения при царизме. Мне пришлось говорить последним. Благодаря выкрику, сделанному кем-то из собравшихся, мне пришлось остановиться на характеристике придворной жизни, начиная с Елизаветы Петровны и кончая последним днем.

Когда я сказал, что вместо штандарта на Зимнем дворце следовало бы водрузить красный фонарь, как эмблему дома терпимости, то весь митинг потряс гомерический хохот, в особенности биссировали солдаты.

— Но это уже ушло в область истории; теперь другое,—мы водрузим наш пролетарский, омытый кровью рабочих, красный флаг, которым и выметем всех паразитов и всю скверну да так, чтобы о них и помину не осталось — и т. д.

После митинга мы пошли на ночлег к Лионозову на промысел, где нам отвели комнаты. На утро после чая пошли в автомобильную роту, где шофера нас угостили своим обедом; потом мне с товарищами пришлось побывать на военном корабле «Карс», где мы купили себе по паре сапог. Обедали в 4 часа у Лионозова,—ели зернистую икру, балык, тежка и т. п. На утро для нас снарядили автомобиль и прикомандировали к нам одного из товарищей, социал-демократа. Верстах в 25—30 от Энзелей стоял на дневки батальон, шедший на смену в Хамадан. Мы остановились там, собрали батальон; Васин, как старший, сделал приветствие и пояснение о значении переворота. На мою долю выпало охарактеризовать весь ход революции и дальнейшее устройство рабоче-солдатско-крестьянского государства. Здесь я встретился с ранее знакомым офицером, евреем-лесоторговцем; он первый обнял меня и расцеловал. Он был страшно рад видеть в этих краях знакомого человека. Лишь только мы расцеловались,—солдаты подхватили меня и давай качать; до самого автомобиля несли на руках, намаяли старые кости; весь батальон стоял на дороге, пока мы не скрылись из виду. Таково было начало.

В Геште мы пробыли почти до вечера; проводить ми-

тинг для гарнизона и местных граждан и гражданок пришлось мне одному, остальные товарищи были заняты разбором дела о неправильности выборов в местный комитет. На первом этапе от Решта мы заночевали; весь вечер провели с гарнизоном. Там нас кормили, поили чаем с сахаром в накладку; некоторые солдатки радовались, как дети, нашему присутствию; нас посвящали во все тайны солдатской жизни. Мы тут же приступали к выборам комитетов, упорядочения хозяйственной части, к улаживанию конфликтов и т. п. Все эшалоны, идущие вглубь Персии, мы также останавливали и посвящали их во все дела.

Через день [или два мы приехали в город Казвин, остановились в автомобильной роте, оттуда пошли в офицерский клуб, а на завтра собрали громадный митинг за городом, на котором присутствовали все части с санитарными отрядами. Митинг открыл тов. Васин; потом пришлось выступить мне. Здесь было много офицеров и друзей начальства. На их присутствие я обратил внимание и дал почувствовать их «благодариям», что с этого дня они должны быть с солдатами в товарищеских, братских отношениях. Я сам чувствовал, что подъем громадный; все слушали с напряженным вниманием. В ответ на мою речь меня подхватили и качали, пока я не попросил пожалеть меня, старика.

Я так расшевелил солдат и офицерство, что после меня начали выступать и некоторые офицеры и солдаты. Когда закончился митинг, и меня на руках понесли к автомобилю, то полковник не вытерпел и, пожимая мне руку, сказал: «никогда не думал, что среди простого русского народа есть такие талантливые люди; теперь я вполне уверен, что Россия выйдет из того положения, в котором она находилась». Обедали мы в офицерской столовой.

Вечером в санитарном отряде был небольшой митинг, человек в 200—300, устроенный санитарями, куда были приглашены и мы. Здесь выступали кадеты. Один из ораторов восхвалял Александра II-го, как человека, давшего свободу крестьянам и т. д. Пришлось взять слово и вывести из заблуждения слушателей и показать им в настоящем свете этого жандарма. Разделал я их, что называется, под орех,

за что и получил награду от слушателей, а кадеты начали оправдываться, что они вовсе не хотели восхвалять царя, что они сочувствуют народному движению и т. п. Но их уже не слушали, одно слышалось — «долой», «довольно». По окончании митинга, кадеты обступили меня и посыпались упреки, за что я их так отчитал; Васин мой тоже говорит, что, мол, так резко нельзя говорить и т. д. Пришлось осадить и Васина. Пасху встретили в автомобильной роте, а на второй день отправились дальше на Хамадан.

В Казвине присоединился к нам еще товарищ, так что нас собралось уже 10 человек. На одном из этапов встретили арестованных солдат и писарей; мы их расспросили, за что их арестовали, и, как оказалось, во всем был виноват их полковник. Мы решили дело расследовать и взять арестованных с собою в эшелон, который шел впереди. Нагнали эшелон и началось следствие. Опросили всех, и солдат и начальство; оказалось все, что говорили писаря, верным. Пришлось полковника отстранить на время, а команду передать старшему офицеру-подполковнику, а арестованных водворить на свои места. После митинга сделали выборы в Батальонный Комитет, которому поручили вести хозяйственную часть. В Хамадане, по проведении митинга, мы собрались для совещания, каким путем отправиться далее, так как с Хамадана два пути: — один путь на Керманшах, другой путь на Сену, вглубь Курдистана. Решили разделить партию на две части: часть пойдет на Курдистан и далее, а другая на Керманшах и потом на фронт, вплоть до соединения русской армии с английской. Сделали опрос, кто куда желает. Я пожелал поближе на Сене, со мной также пошли: армянин (фамилию забыл), тов. из Казвина, Абрамович и бакинский казак (фамилию тоже забыл); с Васиним пошли остальные.

Так как партии с Васиним во главе предстояло идти дальше, то мы решили уделить из нашей части денег по 50 рубл. с каждого. Так мы и поехали в разные стороны. Недалеко от Хамадана стояла бригада артиллерии; мы заехали к артиллеристам, собрали митинг, на котором я стал настаивать, чтобы товарищи выступали и не стеснялись говорить, а то получается впечатление неладное: едем пять

человек, а говорить будет один. Сначала отнекивались, робели, но потом мои ребята втянулись и стали смело выступать, хотя сначала и путались, повторялись, а дальше шло все лучше и лучше, и это спасло нас. На одном из этапов пришлось говорить во время сильного ветра, и я потерял голос, и вот тут-то и пригодилось нам то, что могли хоть отчасти заменить меня. В Сене нам пришлось ехать верхом через горы, где во время спуска приходилось слезать с лошади, а то ковырнешься через голову, а подниматься можно было только взявшись за хвост лошади. Как бы там ни было, все же мы добрались до Сены. Здесь немного отдохнули, горло мое поправилось, и мы отправились на фронт. Там еще стояли войска. Провели там три или четыре дня и возвратились в Сену.

Не стану описывать все, что приходилось встречать, одно должен сказать, что не было ни одной части войск, где бы нас не поднимали на руки и не качали при громовых криках «ура»; даже на обратном пути повторялось то же самое.

Все части войск просили побывать еще, давали письма для отсылки на родину, которые мы забирали; — набралась порядочная сумка.

По приезде в Хамадан, мы узнали, что наши товарищи возвратились ранее нас и уже уехали обратно. Вот так штука! — почему и как, — никто рассказать не мог. Как раз в это время в Хамадане пьяные солдаты учинили маленький погром. Пришлось созвать все части, устроить митинг, на котором главной темой речей было призывание к порядку, не столько солдат, сколько офицеров, не учитывающих всего того положения, которое мы переживаем. — Царизм навязал нам эту проклятую войну и мы должны избыть ее, чем скорее, тем лучше. На офицерах лежит обязанность — разъяснять в своих частях все доброе, честное и не допускать безобразий; комитеты наши еще малоопытные, — они не в силах за всем уследить, на подмогу им должно идти офицерство, а не саботировать их. Все части дали честное слово, что они больше не позволят этого. С этим мы и выехали в Казвин; из Казвина в Решт; из Решта в Энзели. Здесь сели на пароход и приехали в Баку 28 апреля 1917 года.

Пресидили таким образом целый месяц. Мог ли я когда либо подумать, что мне придется побывать в таких странах, которые и во сне никогда не снились. Вот что делает революция! Мне невольно приходит теперь на память призыв старика революционера: «дети, время пришло всем нам приняться за дело. Революция всех призывает»...

В Баку, на делегатском собрании я было заявил товарищу Шаумяну (он был председателем), что желательно сделать доклад о нашей поездке, на что тов. Шаумян ответил, что Васин уже сделал доклад. Мне оставалось только сделать доклад в своем районе, в Сураханах. После моего доклада меня пригласили нобелевские товарищи работать у них для того, чтобы проводить почаще собрания, что я и сделал. С моим поступлением к Нобелю в механическую мастерскую чернорабочим, собрания участились.

Социаллисты-революционеры повели широкую агитацию среди рабочих. Нужно было со стороны с.-д. сделать то же самое. Вот тут-то и произошел раскол между большевиками и меньшевиками. Партия раскололась; верх брали с.-р., наобещав рабочим земли, чуть ли не по 38 десятин на душу. Рабочие еще мало разбирались во всем этом, повалили за с.-р., началась склока. В Баку я повидался с Алешей Джапаридзе, который стал в оппозицию к меньшевикам, но окончательно оппозиция еще не отделялась, вела примирительную линию. Назначен был краевой обще-армейский съезд с.-д., куда меня тоже выбрали (кто и как, я не знаю, заочно). В Сураханах нас было двое: я и Михайличенко. Поехали в Тифлис, где собралось много народу. Впервые мне пришлось очутиться среди такой разнородности племен, наречий и состояний. Здесь пришлось познакомиться с светилами меньшевизма: Н. Жордани, Исидор Рамишвили, Гегечкори и другие.

Съезд происходил в Народном доме. В президиум съезда были избраны: Н. Жордани, Чхенкели, Сочнев (рабочий); почетными председателями избраны были: Михайличенко, как переводимец, и я, как старый работник. Грузинским, армянским и татарским народностям речи переводились. На съезде выявилось резкое расхождение с.-р. с с.-д., как большевиками, так и меньшевиками. На первом за-

седании еще не было строгого разграничения между большевиками и меньшевиками, окончательный разрыв произошел позднее.

На первом съезде я был выбран в центральный рабочий комитет, и оставался в нем до декабря 1917 г. Работа наша была самая жалкая, непроизводительная. Я заболел; мне дали отпуск на месяц, и я уехал в Сухараны, где немного оправился. В Баку, на выборах в городскую думу, РСДРП окончательно раскололась на большевиков и меньшевиков. Пришлось сидеть между двух стульев и поддерживать меньшевиков, сообразуясь с тем, как с.-р. вели себя на собраниях, обманывая рабочих разными обещаниями насчет земельных наделов. Некоторые большевики не отстаивали от с.-р. и тоже вели себя некорректно, и потому я все надеялся, что все партии сольются воедино, во благо народа, а не будут углублять партийную грызню, которая может привести нас к гибели. В Баку из меньшевиков и интернационалистов были Исидор Рамишвили, Ойоло, Садовский, Рохлин и еще кое-кто (теперь трудно всех припомнить, записей никаких не осталось; во время взятия Владикавказа белыми в 19-м году пришлось все уничтожить). В 18-м году я послужил пять месяцев в Красной армии, в Кизляре. Отбивались от Бичерахова, который шел на выручку к казакам. Служа в Красной армии, я много передумал. Здесь я вполне убедился, что правы были большевики, а не меньшевики. Если большевики и делали громадные ошибки, так это неизбежно, потому что не было достаточно ответственных работников. Меньшевики и с.-р. старались мешать делу, а не помогать.

В декабре я уехал во Владикавказ для вручения важных документов комиссариату труда, а оттуда я поехал в Грозный, — тоже для передачи документов. По моем возвращении из Грозного в Баку, меня назначили от комиссариата труда инструктором Бакинского горного отдела по созданию биржи труда, больничных касс и касс безработных. С этой целью меня направили в город Моздок, где я приступил к делу, провел несколько собраний при бирже труда, которая была уже открыта, но не налажена, как должно быть. Все внимание я обратил на создание больнич-

ной кассы и кассы безработных. Как раз в это время началось разложение Красной армии. Поступили сведения, что белые взяли Святой Крест и др. места.

В Моздоке скопилось невероятное количество больных красноармейцев, которых некуда было помещать: в приемных пунктах валялись вповалку, на полу, среди живых лежали мертвые. Местная власть растерялась и не знала, что делать, паника увеличивалась; продукты на базаре исчезли. На собраниях в кино-театре собирались одни красноармейцы; местная организация не могла ничего поделать, и одними речами и призывом помочь делу не было возможности; вместо создания больничных касс, пришлось обратиться с призывом взяться за оружие, идти на подмогу армии, всех способных взяться за винтовку и неотлагательно занять посты, в городе создать ночные патрули, поставить охрану на мосту и т. д. Армия все прибывала; несколько эшелонов прошло дальше, на узловую Червленую. Народ, весь измученный, сосредоточенный, молчаливый, отвечал отрывисто, нехотя; все были подавлены, жутко было смотреть. Пришлось и мне подумать об эвакуации, оставаться в городе не было смысла. И вот я встречаю знакомого бакинского рабочего, который заведывал здесь реквизицией квартир, он мне предложил немедленно отправляться на станцию и садиться в первый попавшийся поезд, иначе нас могут захватить здесь казаки, и наверное, не помянут. Я живо собрался и мы отправились на станцию. На станции была такая масса народу, что глядя на все это, не было надежды сесть в поезд: все вагоны и паровозы были битком набиты. Пошли мы к коменданту, который дал нам пропуск, и на мое счастье натыкаюсь на местных комиссаров, которые подхватывают меня на руки и втискивают в свой вагон, а товарищ мой тоже, вероятно, попал в какой-нибудь вагон или возвратился в город к семейству (после я его не видел).

Наступила ночь, холодная, ветреная. Это было в январе, не помню какого числа. Поезд долго не отправлялся. Уселись на полу в товарном вагоне, разговоров почти не было, все молчали и каждый про себя думал, что-то будет. В вагоне были ответственные товарищи, товарищи из Нальчика.

У всех одна дума—отступление на Кизляр, а оттуда на Астрахань. Поезд, состав которого оказался в сто слишком вагонов, тронулся, шли медленно. Утром проехали станцию Терек; часам к 10 утра приехали в Тепловоды. Здесь стояло три эшелона; остановились и мы. Узнали, что простои́м не меньше трех дней,—поезд наш был четвертый. Я надумал перебраться через горы в Грозный; расспросил, как можно это сделать, мне указали дорогу через станицу к мосту и через Терек, а там будут попутчики.

Пошел я в станицу, дошел до моста, постоял, покурил,—никого нет; зашел в кузницу, поздоровался, спрашиваю кузнеца: «могут ли быть попутчики в Грозный». Кузнец мне сказал, что теперь поздно, утром будут, вообще теперь опасаются ездить: «по дороге грабят». Что делать?—захожу в бондарную мастерскую, спрашиваю, как можно перебраться в Грозный? Мастер тоже говорит: «до утра надо ждать». Меня уже голод начинал мучить. У хозяина спросил, где бы можно было купить хотя бы сала. Мне указали на лавченку на площади. Тогда хозяин позвал свою бабу и приказал покормить меня. За обед я предложил ему деньги, он отказался,—с прохожих, мол, не беру,—и указал мне постоялый двор, где могут быть попутчики в Грозный. Пошел на постоялый двор, где действительно нашел попутчика. Одна дама ехала из соседней станицы в Грозный с небольшим багажом. Я уговорил казака, везшего даму взять и меня, за что я ему заплачу, сколько следует. Сначала казак поартачился, потом, наконец, согласился взять за двадцать рублей. Дело. Выпросил я у хозяйки кипятку, напился чаю и уже собирался лечь, как вдруг входят китайцы. «Откуда».—Оказалось, что с Кизляра идет полк китайцев на подмогу, быть может удастся остановить отступление. Я ясно видел, что из того ничего не выйдет, одним полком тут не поможешь, к тому же продуктов здесь не достанешь. Спал я очень тревожно.

Утром встал; у хозяйки нашелся кипяток, я заварил чаю, хлеб у меня был, я полузакусил. Казак запряг лошадей, и мы тронулись в путь. Проехали мост,—ни души, ни впереди, ни сзади. Едем дальше; нагнали трех-четырех красноармейцев, идущих пешком; проехали Горячеводек

спустились в долину к разрушенному аулу. Громадный аул разрушен до основания. Мы выехали на дорогу, соединяющуюся с дорогой, идущей с Червленной на Грозный. Здесь стали попадаться едущие туда и обратно; дорога трудная, с горы на гору, и только часам к двенадцати перевалили хребет, и перед нами открылись грозненские старые промысла. В Грозный прибыли часа в четыре. Сейчас же пошли в столовую покушать. Там говорят, что хлеба нет,—возьмите хлеба в пекарне по карточке.—Я иду в пекарню, предъявляю мандат, мне дают два фунта хлеба,—ну, значит сыт буду. Пообедав, я направился на постоялый двор, где оставался раньше. Переночевал в холодной комнате и утром пошел на станцию. На станции говорят, что нет поездов и не будет, но я уже по опыту знаю, что что-нибудь да будет. Сажу в дежурной, и вот звонят в телефон—приготовить два вагона для делегатов, едущих из Червленной во Владикавказ. Я иду к комиссару движения, предъявляю мандат, и мне разрешается сесть в вагон делегатов, когда будет подано. Пошел искать, где бы закусить что-либо. Ходил, ходил—ничего не нашел, пришлось пожевать хлебушка и с тем отправиться до Владикавказа.

Вагоны товарные, холодные. Во Владикавказ приехали поздно ночью. Хотели зайти на станцию, а там и ступить негде, пришлось идти на квартиру, на Пролетарскую улицу. Со мной из Грозного ехала женщина, которая попросилась взять ее с собой. Пошли мы по дороге; на улицах патрули спрашивали документы, которые я и показал.

Итак, я снова дома. Старуха моя согрела чаю, накормила нас и мы легли, уже не беспокоясь, что нас потревожат. На следующий день я отправился в комиссариат и обо всем сделал доклад тов. комиссару Александрову, который просил меня пока обо всем помолчать и даже в комиссариате никому не говорить. Я пошел в кассу, получил жалованье 750 руб. за январь. Но события шли своим чередом; через неделю белые подходили к Владикавказу, начались приготовления к обороне и в то же время к эвакуации... В половине декабря уже шли бои. Нам всем выдали жалованье за февраль и половину марта.

Как-то раз утром слышу стук в двери, выхожу, отво-

ряю дверь и вот тебе—вваливаются несколько казаков и спрашивают, кто здесь живет. Я указал, кто в каком помещении живет, вижу: забрали грузин, заходят ко мне, а я в это время строгал на верстаке, делал себе стол. Казаки посмотрели и лишь приказали, чтобы сюда никого не пускать,—это помещение они займут и т. д. Вышел я на улицу, прошел на Александровскую, там лежали раздетые трупы убитых товарищей; я не пошел, возвратился. В это время на двор въехали казаки, заняли все сарай, замки поломали; мне заявили, чтобы я очистил это помещение и переселился в соседнее; но и там не долго пришлось пожить, заставили искать квартиру. Ходил целый день, не мог нигде найти. На другой день пошел с утра на Курскую слободку и только к вечеру нашел комнатуху, а с утра следующего дня нанял дрогалия и переехал. Когда переехал, тут-то я вздохнул свободнее, хотя и здесь казаки рыскали и искали красноармейцев. На Курскую слободку они были злы за ее упорное сопротивление, где их полегло не мало. Как-бы то ни было, а оставаться во Владикавказе было опасно. Стал подумывать, куда бы это отправиться, ждал только, когда можно будет ехать без пропусков. Наконец, пропуска отменили, требовали только свидетельство от врача, что здоров. Пошел к врачу, взял свидетельство, за что заплатил десять рублей. Деньги у меня были нового выпуска, и на базаре их не принимали, все-таки я кое-как вывернулся,—продал столы, табуретки, скамеечки, которые наделал за это время. Я взял извозчика и отправился в дорогу. В Георгиевске высадился, в надежде увидеть кого-либо из знакомых. Тут я остановился на постоялом дворе, а на другой день с трудом удалось найти квартиру.

В это время собиралась партия беженцев в Закавказье, пошел и я записаться. И вот, случайно на базаре встречаю жену Михайличенко. О боже, сколько радости с обеих сторон... Я о нем слышал в Моздоке; мне говорили, что Михайличенко выехал из Моздока, но куда—никто не знал. Но каково же было мое разочарование, когда она мне сказала, что он сидит в тюрьме. Жили они за городом, на мельнице Лизунова; там жил и инженер-химик Романов, который строил мыловаренный завод от георгиевского кооператива.

Пошел я на мельницу, посмотрел, потом навестил Романова, который был болен. Романов с радостью меня принял и велел переезжать сейчас же сюда, пока к Михайличенке, у него есть свободная комната, а потом дадут квартиру. Я получил от него записку, чтобы дали сейчас же лошадь с дрогами, и я поехал в Георгиевск за своим барахлом и старухой, и переехал на мельницу Лизунова, который жил тут же. На другой день я с женой Михайличенко пошли в контр-разведку, где взял пропуск на свиданье с Митрофаном Ивановичем, и там разузнал, в чем дело. Оказалось, что все это по доносу Лизунова, что человек этот отъявленный контр-революционер, он теперь рвет и мечет, что отдал в аренду мельницы и просорушку, так как боялся, что советская власть конфискует. Ясно было, что с таким человеком нужно держать себя осторожно. Михайличенко надеялся скоро вырваться, так как сын того же негодяя Лизунова служил в контр-разведке и, зная всю эту историю, не сочувствовал отцу. Он повел дело так, что его должны были освободить. Из тюрьмы я направился к Романову, который предложил пока поработать плотником, а потом будет видно. Я вышел с инструментом и стал на работу. Мне дали сделать глухой с дверками и полкой стол. И так началась моя работа. Мне пришлось прожить здесь больше года, до прихода Красной армии. Но не миновал и я ареста: тот же Лизунов донес и на меня в контр-разведку; меня и еще одного товарища арестовали. Это было в первых числах февраля 1920 года. Продержали нас дня четыре, потом освободили. Мы все ждали, что этому времени вся эта белая свора будет уничтожена. Наконец, пришло долгожданное. Радость у всех была великая. Все виселицы, красовавшие на дороге, были убраны.

Мне стало противно здесь прозябать. При посредстве Романова я подал заявление в Пятигорск, что желаю поступить инструктором по народному образованию на стекольный завод при станции Минеральные Воды; получаю извещение, что утвержден, и я покидаю Георгиевск со всем его мещанским укладом и переезжаю на стекольный завод.

На заводе школа не функционировала, пришлось начинать все сначала. Здесь я был в своей среде, среди про-

летариев. Вскоре подыскал учителей, открыли школу, кое как устроили сцену, библиотеку, столовую, детский огород и т. п. Здесь я снова вступил в партию коммунистов. Приходилось выступать на митингах и общих собраниях, и так бы я, пожалуй, и доживал дни в Минеральных Водах, но Г. И. Петровский, узнав обо мне, позаботился перевести меня в Харьков, где я и нахожусь при архиве Истпарта.

Многое позабыто и упущено, прошу об одном товарищи — исправить неточности, которые окажутся в моих воспоминаниях.

П Р И Л О Ж Е Н И Е.

«Одним из самых бойких членов местного революционного рабочего кружка был фабричный, которого мы назовем хотя Иваном *). Прекрасный малый, очень неглупый, деятельный и энергичный. Иван имел страстишку выставиться и порисоваться. Этот недостаток его, с избытком искупавшийся, впрочем, его достоинствами, ставил иногда Ивана в довольно смешные положения. Однажды к величайшему нашему удивлению и огорчению, он вздумал прочесть стачечникам лекцию о прибавочной стоимости. Слушателям было совсем не до того: они собрались поговорить о том, как вести себя в виду неожиданной для них измены пристава; лектор сам, как обнаружилось, плохо понимал свой предмет, да, вдобавок, еще сильно смутился на этом первом, так сказать, пробном уроке, и ничего, кроме вздора, из его просветительных усилий не вышло. Он был сильно сконфужен своей неудачей. Мы думали, что теперь он умонится надолго, если не навсегда, но не тут-то было. Уже на другой день Иван позабыл об этом печальном происшествии, и его опять тянуло побаловать себя тем или другим эффектным положением. Приходит он однажды часов в 8 утра на квартиру Гоббста и торжественно обращается к одному из присутствующих там «бунтарей».

— Петр Петрович, надо было смотр сделать!

— Какой смотр?

— Да больше ничего — вытти на улицу, людей посмотреть, себя показать. Скучает народ-то!

Бунтарь, названный здесь Петром Петровичем, отчасти походил характером на Ивана, с которым, кстати сказать, был большим приятелем. Он быстро сообразил, чего тот

*) Весьма возможно, что под Иваном Плехаг яв разумел именно Моисеенко.

хочет, и без возражений вышел с ним на улицу. Спусти несколько минут вышли и остальные бунтари—их было 2—3 человека—очень заинтересованные новой затеей неугомонного Ивана. Дойдя до Обводного канала, они увидели такую картину.

Сотни стачечников покрывали набережную, образуя вдоль нее сплошную стену. Перед этой стеной медленно, торжественно шествовал Петр Петрович, а за ним, на некотором расстоянии, двигался Иван, слегка повернув в сторону свою почтительно наклоненную голову, как бы затем, чтобы хоть одно ухо было поближе к начальству и не проронило ни слова из могущих последовать приказаний. Везде, где проходила эта пара, рабочие снимали шапки, приветливо кланяясь и отпуская на ее счет разные одобрителные замечания. «Вот они, орлы-то наши, пошли» любовно воскликнул в нескольких шагах от меня пожилой рабочий. Окружавшие его молчали, но видно было, что и им появление «орлов» доставило большое удовольствие.

Комическая выдумка Ивана была подсказана ему верным пониманием настроения массы. «Народ» действительно «скучал», не видя революционеров. Он чувствовал себя бодрее и смелее в их присутствии. (Стр. 35).

«Сближение с революционерами не мешало большинству стачечников надеяться на помощь со стороны трона. Именно от «орлов» то и ждали, что они напишут прошение («хорошенькую бумажку!»). Обращаться с такой просьбой к революционерам значило почти то же, что просить сатану отслужить молебен угоднику. Землевольцы заранее морщились при мысли о такого рода поручении, тем более, что «лавристы», недовольные принятым ими способом действий, давно уже обвиняли их в измене революционным принципам. Но делать было нечего. Веру в царя нужно было разрушать не словами, а опытом. И вот однажды утром в квартиру Гоббста принесен был проект требуемого прошения. Одобренный местным рабочим кружком, он был представлен на рассмотрение рабочего собрания, состоявшегося на обширном дворе бумагопрядильни. Малолетние рабочие «ребятишки»), все время принимавшие деятельное участие в стачке, рассыпались по прилегающим улицам и переул-

кам, чтобы в случае приближения полиции во-время предупредить собравшихся. Кто-то (кажется, все тот же Иван) взобрался на большую кучу каменного угля и громогласно прочел прошение. Оно вызвало всеобщий восторг. «Вашему Императорскому Высочеству, говорилось в нем, не безызвестно, какие плохие были отведены нам наделы, и как сильно страдаем мы от малоземелья!»—«Верно, верно, гремела толпа, только звание, что земля, а пользы от нее никакой!»—«Вашему Императорскому Высочеству не безызвестно также, что за эти плохие наделы мы платим огромные подати»—продолжал чтец.—«И это так, и это верно,—одобряли слушатели, вздохнуть не дают с податями!»—«Вашему Императорскому Высочеству не безызвестно, наконец, с какой жестокостью взыскиваются с нас эти тяжелые подати,—раздавалось с высокой каменноугольной трибуны,—нужда гонит нас на заработки в город, а здесь нас на каждом шагу притесняют фабриканты и полиция». Далее следовал разбор вызвавших стачку новых правил, а в заключение говорилось, что, не видя ни откуда защиты, рабочие ждут ее от наследника престола, но если и он не обратит внимания на их просьбу, то ясно будет, что им остается надеяться только на самих себя. Заключение также найдено было очень рассудительным. «Если от наследника ничего не добьемся, то уж надо будет, как-никак, поправляться самим»,—решили слушатели. Таким образом, прошение было готово. Но как доставить его наследнику? Итти «ходоком» к Аничкову дворцу никому не хотелось, так как подобное путешествие могло закончиться очень неприятным образом. Решено было нести прошение целой толпой». (Стр. 37).

«15 января следующего года рабочие бумагопрядильни, по обыкновению, пришли на фабрику рано утром. Несколько часов прошло обычным порядком; но перед обедом в ткацкое отделение явился главный мастер и вывесил объявление, приглашавшее 14 ткачей к расчету. На вопрос, за что такая немилость,—мастер ответил, что эти 44 человека выбрасываются на улицу за свое «бунтовство», и что впредь все неблагонадежные будут прогоняемы. Заявил он также, что вообще администрация фабрики, в виду постоянных бунтов, думает заменить ткачей-мужчин женщинами и детьми.

Речь его была прервана взрывом негодования. Объявление было изорвано в клочки, сам оратор должен был ретироваться. Ткачи высыпали на улицу и разбрелись по домам обедать. После обеда они собрались перед воротами фабрики густой толпой, через которую не прошел ни один из тех, кто еще колебался пристать к стачке. Директор поспешил известить полицию о новом «бунте». Около фабрики забегали «фискалы», показались окологородные, в полной форме, с револьверами на боку; их сопровождали десятки городских. Но полиция пока еще не обнаружила большой стремительности, вероятно, потому, что не получила еще надлежащих наставлений свыше.

К вечеру того же дня ткачи решили, кроме отмены распоряжения об изгнании бунтовщиков, требовать также: 1) повышения заработной платы 5 коп. на кусок ткани; 2) сокращение рабочего дня на 2½ часа; 3) отмены некоторых штрафов; 4) изгнания нескольких ненавистных им мастеров и подмастерьев; 5) присутствия выборных от рабочих при приеме сдаваемой ими ткани, и, наконец; 6) выдачи им платы „за все время стачки, как будто работа и не прекращалась“. Требования эти были немедленно записаны и, если не ошибаюсь, отпечатаны в тайной типографии „Земли и Воли“.

Слухи о стачке на Новой Бумагопрядильне быстро распространились между фабричными, и на следующий день на Обводный канал явилось 40 выборных от ткачей фабрики Шау (Шавы, как произносили рабочие) за Нарвской заставой. «Шавинские» также решились забастовать и предлагали и «новоканавцам» выработать общие требования. Правда, полного тождества в требованиях стачечников этих двух фабрик быть не могло, так как порядки, практиковавшиеся г. Шау, отличались от порядков, существовавших на Бумагопрядильне. У «Шавы» работа шла безостановочно день и ночь, при чем рабочие разделялись на две смены: одни сутки одна смена работала 16 час., а другая 8, следующая—наоборот. Трудолюбивый фабрикант не прекращал работы даже вечером накануне праздников: она приостанавливалась только в 6 час. праздничного утра. Г. Шау заботился также и о продовольствии рабочих: у него была мелочная лавка, в которой они обязаны были покупать про-

дукты. Читатель легко может представить себе, как выгодно это было для заботливого хозяина. Иногда, придя за покупкой в контору, рабочий узнавал, что весь его заработок ушел на уплату по его забору в хозяйской лавке.

С одобрения «новоканавцев» «шавинские» рабочие представили своему хозяину следующие требования:

«1. Чтобы на каждый вытканый кусок прибавили платы по 5 коп.

«2. Чтобы прогульные дни не считались, если сам хозяин виноват в прогуле.

«3. Чтобы основы выдавали хорошие, и чтобы материал выдавался при наших выборных.

«4. Чтобы товар не браковали зря, чтобы за этим тоже следили наши выборные.

«5. Чтобы не штрафовали за полом инструментов, за отсутствие из фабрики по болезни и надобности.

«6. Чтобы за харчи платить не в конторе, как теперь, а в лавке, по получке денег на руки.

«7. Чтобы на больницу платилось не по 1¼ к. с рубля а по 10 коп. в месяц.

«8. Чтобы за кипяток *) на фабрике рабочие не платили.

«9. Чтобы утром давалось время с 8½ до 9 ч. на завтрак.

«10. Чтобы накануне праздников работа кончалась в 8 час. вечера.

«11. Чтобы газовые горелки расположить, как лучше для работы: мы сами укажем место для них; а то теперь в иных местах вовсе свету нет.

«12. Чтобы прогнать с фабрики подмастерьев: Никифора Арсеньева и Нефёда Ефимова, Николая Волкова и шпульника Кирилла Симонова. Нам от них нет житья и мы с ними не хотим работать.

«13. За время стачки денег с нас не вычитать, потому что мы не работаем не по своей вине, а по упорству хозяев.

«14. Чтобы никого из нас не брали в полицию за то, что не работаем, а тех что теперь забрали, пусть выпустят».

*) Для чая.

Предъявленное фабриканту последнее (14-е) требование с формальной точки зрения могло бы показаться бессмыслицей. Но в действительности оно имело большой практический смысл, так как аресты рабочих происходили по настоянию и нередко по личному указанию фабрикантов. Стачечники нашли полезным предупредить г. Шау, что даже в случае исполнения [всех остальных требований они не станут работать, пока не прекратятся аресты и не будут освобождены арестованные.

На сходке представителей от обеих фабрик были, между прочим, обдуманы меры для поддержания беднейших из стачечников. Таких, естественно, должно было оказаться более у «Шавы», который грозился немедленно прекратить выдачу припасов из своей лавки. Решено было первые сборы предоставить в распоряжение его рабочих. Сборы же предполагалось делать на всех фабриках и заводах. В этом смысле были напечатаны (разумеется, в тайной типографии) воззвания ко всем петербургским рабочим. Надежда на их помощь не была напрасной: сборы делались почти повсеместно, и возбуждение рабочих во время этих сборов было подчас так велико, что грозило перейти, а местами и переходило, в забастовку.

На фабрике Мальцева (на Выборгской стороне) разбросаны были воззвания стачечников. По этому поводу полиция арестовала рабочего, заподозренного в их разбрасывании. Его товарищи заволновались. Пошли толки о том, чтобы последовать примеру «новоканавцев», но хозяин ласковым обращением и обещанием разных благ в будущем восстановил спокойствие. Г. Чешеру (его фабрика тоже была на Выборгской стороне) не удалось отделаться одними обещаниями: он вынужден был прибавить по 3 коп. на каждый кусок ткани. Волновались рабочие на Охте. Так заразительно действовал пример. А тем временем полиция и фискалы делали свое дело». (Стр. 49).

«... Уже в ночь с 16—17 числа произведено было несколько арестов. Арестовано было 6 человек из рабочих Шау, 20 человек с Н. Бумагопрядильни, один слесарь на Лиговке и т. д. Аресты еще более усилили раздражение рабочих. До 17-го числа только ткачи участвовали в стачке

на Н. Бумагопрядильне. С того же числа к ней пристали и прядильщики: фабрика совсем остановилась. О подаче каких бы то ни было «прошений» теперь уже никто не думал. «Новоканавцы» только смеялись, когда мы напомнили им об их прошлогоднем хождении с прошением: «то-то дураки-то были!»—говорили они.

На фабрику Шау в качестве миротворца явился некий «полковник». Рабочие подали ему письменное изложение своих требований и категорически заявили, что на меньшем не помирятся.

— Согласны вы на эти требования?—спросил полковник хозяина.

Тот, разумеется, ответил отрицательно.

— Ну, так чего же вы, такие-сякие хотите?—заревел миротворец,—да я вас!... и т. д., и т. д. полились обычные в таких случаях словеса «кротости и увещевания», т.-е. брань, украшенная напечатанными словами... «У меня, заключил храбрый воин, сейчас 25.000 солдат под ружьем, попробуйте только бунтовать!».

— Больно уж много ты, ваше благородие, войска-то для нас наготовил-то,—насмешливо заметили рабочие,—нас всего-то здесь 300 человек с бабами, и с ребятишками, а мужиков-то не будет больше сотни.

Полковник понял, что зарапортовался, и прикусил язык, приказав, для поддержания своего авторитета, схватить одного из остряков, но толпа окружила эту жертву полковничьего смущения и отстояла ее от полицейских покушений. Так и уехал ни с чем чиновный миротворец.

Не желая обращаться к властям ни с какими прошениями, стачечники нередко предъявляли им теперь очень настойчивые требования. Так, например, рабочие Н. Бумагопрядильни решились требовать освобождения своих товарищей, арестованных ночью с 16 на 17 января; 18-го числа часов около 10 утра, толпа около 200 человек собралась недалеко от здания фабрики. Здесь было прочитано и одобрено следующее заявление:

«Мы, рабочие Новой Бумагопрядильни, сим заявляем, что не пойдем на работу, пока не будут уважены все наши, заявленные хозяину, требования. Что же касается полиции,

то мы отказываемся от всякого вмешательства с ее стороны для примирения нас с хозяином, пока не будут освобождены наши товарищи, люди, за которыми мы не знаем ничего худого. Если их обвиняют в чем-либо, пусть судят их у мирового, при чем мы все будем свидетелями их невинности. Теперь же их арестовали и держат без суда и следствия, что противно даже существующим законам».

Когда читалось это заявление, подошел околоточный, он предложил рабочим пойти к участку для объяснения с приставом, но они предпочли переговорить с градоначальником. Путь их к дому градоначальника лежал через Загородный проспект. На нем есть или, по крайней мере, был дом «мещанской гильдии», с проходным двором. Едва рабочие прошли через этот двор и вышли на Фонтанку, их атаковали жандармы с приставом Бочаровским во главе, тем самым приставом, который только что приглашал стачечников притти к нему для объяснений. По всей вероятности, полиция, еще накануне узнавши о намерении рабочих добиться освобождения заключенных, заранее приготовилась к отпору, и переданное околоточным приглашение пристава было простой ловушкой. Видя, что не удастся заманить рабочих в участок, г. Бочаровский пустился преследовать их, как фараон убежавших из Египта евреев.

Произошла свалка. Жандармы мяли лошадьми рабочих, рабочие защищались, как умели. У некоторых оказались кистени, а знакомый уже читателю Иван, принимавший горячее участие в стачке, вытащил даже кинжал и ранил им лошадь наскочившего на него жандарма. Но силы были слишком неравны, нападение было слишком неожиданно. Жандармы победили. К счастью для рабочих, упомянутый проходной двор обеспечил им довольно безопасное, хотя и беспорядочное отступление» (Г. В. Плеханов. *Русский рабочий в революционном движении*. Гос. изд. Москва, 1922 г. Стр. 51).